



Оксана Демченко

ЦВЕТОК ЦИКОРИЯ

Книга 1. Облачный бык

Оксана Демченко

**Цветок цикория. Книга
1. Облачный бык**

«Издательские решения»

Демченко О.

Цветок цикория. Книга 1. Облачный бык / О. Демченко —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-937789-0

Можно было бы утверждать, что это история об отношениях людей с самым молодым из богов — денежным. Но нет: в книге полно безбожников, которые игнорируют высшего, заодно ставя под сомнение и иные незыблемые ценности — даже саму жизнь, которая вроде бы дается человеку лишь раз. Так что скорее всего это история о ценностях, реальных и ложных, ради которых люди живут и умирают, выбирают себе богов или торгуются с бесами...

ISBN 978-5-44-937789-0

© Демченко О.
© Издательские решения

Содержание

Предисловие	6
Глава 1. «Первоцвет»	7
Проклятие кукушки. Сказка таежного народа ёманхэ	54
Глава 2. Кукушонок	56
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Цветок цикория

Книга 1. Облачный бык

Оксана Демченко

Редактор Борис Демченко

© Оксана Демченко, 2018

ISBN 978-5-4493-7789-0 (т. 1)

ISBN 978-5-4493-7790-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие

Буквально несколько слов от автора.

Для меня эта книга была сложной, хотя бы потому, что тема денег как-то не вполне сказочна в моем понимании сказок. Однако же идея донимала, и тут уж оставалось или пойти за ней, даже сильно сомневаясь – тропка-то кривая и незнакомая – или сдаться. Я решила, что идти лучше, чем отказаться от похода. Так что приглашаю на прогулку, и прошу понять: это не академическое исследование природы денег, а очень и очень субъективный взгляд на них из сказки.

Еще один важный для меня вопрос, требующий пояснения: почему книг две? Да, идея сквозная, повествование тоже. Но стиль и ритм – разные. Первая книга содержит легенды, сопровождающие все главы. Без них – а сперва их в плане книги не было, честно признаюсь – было как-то неволиебно.

Вторая книга легенд уже не содержит. На их месте между главами – отдельная, разбитая на череду рассказов, история одной короткой жизни и тех немалых и очень длинных во времени последствий, которые за ней тянутся через сюжет основной книги в том числе.

И легенды первой книги, и истории в рассказах, нанизанные на сюжет второй, можно читать, нарушая порядок глав. Хотя были приложены усилия для совмещения сюжета и этих включений. Но – односторонние: для основного текста важно, чтобы та или иная легенда или хроника была именно рядом со «своей» главой. А вот для легенд это не важно. Они самодостаточны. Хотя в дальнейшем на них будут ссылки во второй книге, обещаю.

Итак, добро пожаловать в любимый автором период паровозов, газовых фонарей и бумажной прессы!

Глава 1. «Первоцвет»

Передовица газеты «Отрадный день»

«Загадочная кража взволновала Отрадное. Из скандально известного клуба «Шелли» в ночь исчез белый рояль. Вещь, прямо скажем, впечатляющих габаритов. Многие полагали, он и в двери-то не пролезет, однако же – пролез и следов не оставил... Но подлинной интригой стало утреннее обнаружение рояля на веранде особняка адвоката Бунэ! На рояле лежал конверт на имя адвоката. Внутри обнаружили солидная сумма денег и листок с текстом, по буквам склеенным из заголовков нашей вчерашней газеты. «Меня обманом забрали из дома семь по улице Песенной. За год в плену ни разу не настраивали, к тому ж держали в сыром подвале. Умоляю о спасении. Гонорар прилагаю. Ваш клиент, белый рояль фирмы «Тоссер и Куфф», последний шедевр мастера Ибнера Куффа, да будет он вознагражден на небесах за свой дар оживлять музыку».

Клуб заявил о правах на рояль и нанял грузчиков для его возврата, но адвокат принял меры к охране клиента: господин Бунэ заявил, что факт выплаты гонорара равнозначен подписанию договора, кем бы или чем бы ни был клиент.

Первое слушание по делу состоится завтра. Знающие люди не сомневаются в победе рояля... и это, вероятно, будет первый прецедент обращения в суд неодошевленного истца.

Между тем, жандармерия прекратила поиски подлинного похитителя рояля, хотя управляющий клубом утверждает, что вор – пропавший днем ранее пианист Яков.

Мы будем держать читателей в курсе уникального судебного процесса».

Объявление в разделе «О саде и доме» газеты «Луговица»

«Отдам безвозмездно инаньскую лекарственную лиану редчайшего сорта И-чу. Растение полностью готово к пересадке на постоянное место в оранжерее.

Условие дарения: собеседование с потенциальным владельцем на предмет готовности ухаживать за И-чу и любить её всей душой; осмотр оранжереи.

По вопросу о дарении обращаться в жандармерию, в приемную господина Мерголя. Там оставить сообщение на имя Юлианы Миран. Особо подчеркиваю: не суйте много денег. Бесполезно! Прежний владелец лианы был весьма богат, но довел растение до выброса на помойку».

Далеко-далеко, может и вне пределов мира, наметился низкий дрожащий звук. Он проник в сознание, заставил к себе прислушиваться – и постепенно сделался ярче, будто прорисованный красками по карандашному наброску. Звук клокотал, рвался из небытия, тащил за собой новые впечатления – зримые: гусеницу поезда, посаженную на толстый поводок дыма. Чуть погода добавились ощущения, и сей раз – дрожь сонной земли, словно бы испуганной бесцеремонным вторжением.

Железная гусеница напознала, пожирала покой раннего утра, птичий шум, благодать безлюдья. В утробе вагонов бурлила суeta: пассажиры пили чай и перекладывали вещи, ссорились и мирились, вели учет своим и чужим делам... Непокой множеством колючих взглядов пёр

вовне, но расползтись широко не мог: еще в столице железная гусеница проглотила пассажиров с грузом их дел и безделья – и теперь крепко удерживала в челюстях вагонных дверей, чтобы отрыгнуть в другом большом городе.

Поезд приближался. А я – одинокий наблюдатель – стояла у насыпи, вне чужой суеты... Дрожь земли делалась сильнее, ритмичнее. Грохот закладывал уши. Вот накатила волна пара, обдала запахом гари!.. И остыла, осела в душе неожиданной отрешенностью.

Мое настроение годно поздней осени, но никак не нынешней дружной весне. Думаю, гуси с подрезанными крыльями ощущают что-то схожее, когда слышат гомон перелетных: родной двор вдруг делается тесен и сер. Я не гусь, огромный мир вне города – не птичий двор, но прямо теперь я рвусь надвое. Не очень любя город, я принадлежу ему... но нахожусь вне привычного мира. Я на незримой границе суеты – и покоя.

Покой – вон он, рукой подать: лес у горизонта, поле до самой насыпи и игрушечный замок-вокзальчик с единственным обитателем, станционным смотрителем. Уже послезавтра напоздуют телеги, набегут приказчики, сгрудятся муравьиной колонией работники. Все вместе они возьмутся лепить летние павильоны, платформу... В считанные дни городской мир отхватит у лесного сочный кусок, чтобы прожевать зелень луга – и выплюнуть лишь сморщенную шкурку. Я знаю, бывала здесь поздней осенью, и всюду окрест видела изломанные доски, сор...

Но сейчас весна. Близ путей, у края не построенной пока платформы, на свежевкопанных столбах, вчера укрепили вывеску «станция Луговая». Её обновляют ежегодно. В этот раз название вырезано в цельном спиле дубового ствола, в прошлом сезоне его отлили из чугуна. А в позапрошлом? Кажется, был сине-белый фаянсовый узор.

К холодам древесина вывески заветреет, рассохнется. Краска, если вывеску покроют ею, облезет. Но никто не заметит, не огорчится: зимой поезда мчат мимо. Лишь единожды в неделю старый паровозик с парой вагончиков замирает перед заиндевшим вокзалом, сипло оповестив смотрителя о доставке почты и случайных гостей...

Название «Луговая» не зря звучит по-летнему праздно. Здесь всё принадлежит отдыху и роскоши. Вокруг – земли, цена которых ничего не значит: войти в элиту только с деньгами нельзя, требуются престиж и признание, а то и другое передается по наследству или выделяется как привилегия. Амбиции пропитывают и отравляют чистейший воздух этих мест. Природа становится лишь их обрамлением – каскадные озера, реликтовый лес, живописные холмы. Все это входит в состав богатейших имений или объявлено охраняемым лесным ведомством страны.

До нашествия хозяев имений и их гостей – почти месяц. Как раз трава встанет в полный рост, ночи сделаются теплыми и даже душными. А пока по утрам пальто более чем уместно. Как и пуховый платок. Я поправила свой, глубоко вздохнула. Улыбнулась, подставляя лицо рассвету. В нем душа умывается...

Трудно поверить, что недалеко столица, огромный шумный Трежаль с пригородами, селами и выселками, со складами, речными портами, заводами, подворьями. Каких-то два часа паровозного пыхтения и колесного перестука отделяют «Луговую» от центрального вокзала нашей столицы. Но отсюда город кажется миром.

Звук летит над лугом, пар рвется в небо... длинный гудок, два коротких. Машинист торопит всех, кому важна «Луговая»: не зевайте, мы на месте, остановка длится минуту!

В нынешнюю весну я часто встречаю поезда. Научилась не метаться вдоль путей, не охать, не потеть. Но – продолжаю шуриться... Хотя встала в нужном месте и почти спокойно слежу, как мелькают колеса, взблескивают стекла окон, течёт маслянисто-блестящая полоса борта, обрываясь провалами сцепок и возобновляясь.

Мне нравятся поезда с их беззаботно-перелетной и в то же время организованной жизнью. Как будто превосходный часовой механизм приводится не пружиной, а биением сердца!

Все, хватит мечтать, пора вспомнить о деле. Шагаю к рельсам, всматриваюсь. Говорят, номера вагонов хорошо читаются. По мне, так можно написать и покрупнее. Мелькают таблички, мелькают... Но я твердо усвоила: почтовый прицепной – всегда последний. Уже вижу лихо высунувшегося всем корпусом грузчика. Машу ему, вглядываюсь. Вот и он махнул в ответ.

– Для «Первоцвета»! – ору что есть голоса.

– Сама что ль перекидаешь дальше? – ответно шумит он. – Эй, наняла б кого, а? Тяжелый груз-то.

– Да-да!

От сердца отлегло: приветливый почтовик. А прошлый меня обругал, ведь я не узнала его, хотя груз получала не раз. Обидно... за минуту много ли объяснишь? Я даже извиниться не успела. Стояла, как помоями облитая. Ну да ладно. Всякое бывает.

– Спасибо! – повторяю тише. Из вагона уже летят мешки, тюки. – Как вы ловко...

Почтовик кидает прицельно, без грубости. Вещи укладываются в рядок на насыпи. Уворачиваюсь от последнего тюка – он легкий, но объемный – подбираюсь вплотную к вагону и ставлю на пол корзинку. В ней булочки, морс, ветчина. Я успела усвоить, что почтовые люди живут «сменами», им приходится оставаться в вагоне все время пути от столицы и до конца отведенного участка. Заступая в смену, почтовики принимают и раскладывают груз, в пути следят за его сохранностью... много мороки. А зимой какво? Дверь сдвижная: открой на миг, и мороз вломится в вагон безбилетником, нахальным и неодолимым! И постоянные переезды, и бессонница. Парень, который выгружает мои тюки и мешки, уже полные сутки безвылазно в вагоне. Называется его должность по-правильному сопроводитель.

– И тебе спасибо! – кричит почтовик, перекрывая гудок паровоза и отвлекая меня от бесполезных мыслей. – Бывай, землеройка!

Едва расслышала. Состав хрустит сочленениями позвонков-вагонов, вытягивается с Луговой дальше, резвее... Место здесь презабавное, за станицей начинается рельсовая дуга с подъёмом и спуском, поезда набирают ход, выгибаются – и ныряют в небо.

– Значит, уже выгружал для меня, – смущенно сообщаю себе, слушая, как удаляется поезд. – Ну да, это же он помог в самый первый раз! Точно. Я плела глупости и заикалась, а он не ругался, что копуха и порядков не знаю. Добрый дядька. Хорошо, что корзинка не досталась тому охальнику. Очень хорошо...

Заговаривать себе зубы полезно. Не желаю думать о грузе! И так, не думаячи, знаю, что за спиной громоздится гора выше моего роста. Обернусь, и сделается до жути ясно: во-он сколько навалено тюков и мешков, а я одна, и одной мне надо... то есть не мне, а моему нанимателю из славного и богатого дома Дюбо.

Зажмурилась и мечтаю, чтобы нашлись добрые воры и умыкнули хоть половину груза! Я не подглядываю. Я и крика поднимать не стану.

– Да уж. Воры не добрые, они умные! На кой им дерюги и прочее-разное, вроде краски для опилок? – я вздохнула и строго приказала себе: – А ну, оборачивайся. Хватит мечтать, таких чудес не бывает. Воров окрест вовсе не водится, как и случайных добрых пассажиров... грузчики, и те заведутся через неделю, если не позже.

Не хочу открывать глаза! Под шторами век залегла особенная утренняя тьма – спокойная и легкая. Она раскрасила звуки и спрятала душевную горечь. Если не открывать глаза, а поворачиваться на ощупь, слушая, как хрустит гравий под башмаками, можно ощутить грань миров – лесного и людского. От людского пахнет сажей, креозотом и железом. Лесной дышит росой, наплывает крепнущими трелями птиц, насыпается шорохом листвы, набегают волнами травянистого ветра...

Рассвет – мое любимое время. Свежесть хрустальная, и вся она пронизана птичьим гомоном. Вуаль тумана кокетливо и неплотно укрывает дальний лес, а к коврику ближнего луга она

крепится иглой вокзального шпилья. На кончике – традиционный для путевых строений знак солнца, крест в круге. Он уже принял лучи восхода.

Хорошо рисовать мир с закрытыми глазами! Недостатки зрения не мешают. Вот разлеплю веки, и что увижу? Уж точно не знак солнца, куда мне с моими глазами! Я разберу разве что пятно: золотистое, совсем размытое. Даже сощурясь...

– Барышня, не ваш ли будет во-он тот шарабан? – прошелестели мне в ухо.

– Ой! Вот зачем так подкрадываться? – от неожиданности я подпрыгнула, оступилась... Но не упала, а удачно осела на тюк, мягкий и объемный. – Напугали.

– Даже не пробовал... пока, – доверительно сообщил тот, кто подкрался. – Но если ваш, я поздороваюсь и наймусь в грузчики. В оплату довезёте до Луговой. Если же не ваш, то будьте уж так добры, скажите, чей.

– Типичный вор, – буркнула я, мельком оглядев незнакомца и надеясь, что он не слышит.

Парень сразу показался опасно похожим на воплощение мечты о внезапной убыли груза. Весь подобранный и дерзкий, лет двадцати пяти, хотя по нему возраст не читается. Но наверняка старше меня. Некрупный, худощавый. И еще: он человек города. Стоит на рельсе в пол-оборота ко мне, не шелохнувшись. Одет в темное, складно по нему обмятое. Пострижен так коротко, что на макушке и возле ушей сажево-черные волосы смешно топорщатся. Кожа от природы смугловатая: бледному по весне так не загореть. Лицо скуластое, глаза – смотровые щели. Типичный вор. Ну, как я себе представляю воров. Теоретически.

– Я не вор, – парень упруго качнулся с мысков на пятки и повернулся лицом ко мне, ловко балансируя на рельсе. – Вот так приветствие! Милейшая барышня по виду, а такая колючая в обращении.

– Кто еще колючий! Если у меня нет шарабана, так и здороваться со мной не стоит, да?

Парень пристально изучил груз у меня за спиной. Демонстративно пошевелил губами, вроде бы пересчитывая тюки и мешки. Прищурился еще нахальнее.

– Брать с девчонки деньги неинтересно, дешево выйдет. Задаром перекидывать такую гору – глупо. Умнее не здороваться. Но, если есть общий интерес, дело другое.

– Правильно, не здоровайтесь, – согласилась я. – И то: брать ненадежного попутчика и ехать с ним два часа лесом – глупо. А не брать невежливо.

– Значит, шарабан ваш, – я давно заметила, что у некоторых слух устроен по-особенному. В речи собеседника они разбирают лишь то, что важно им. – Приветствую, милая барышня. Звать меня можно эээ... Яковом. Вещи перекидаю быстро и бережно, даже не беспокойтесь.

Он кивнул, как о решенном, шагнул с рельса и сразу поддел самый крупный тюк, качнул, примеряясь... отпустил. Выпрямился, хозяйски изучил шарабан, спуск к нему с высоченной насыпи.

– А если мне совсем не нужен попутчик? – возмутилась я для порядка, без прежнего отчаяния глядя на проклятушие мешки, такие многочисленные и весомые, что спорить нет сил.

– Мне-то нужен!

Яков отпихнул легкие тюки, рывком поднял и навалил на спину два тяжелых мешка, устроив их боком. Я молча пронаблюдала и впечатлилась. Не думала, что такие мешки можно таскать по два. Громадные мужики-грузчики на подворье Дюбо носят по одному, а юркий Яков вихрем слетел по насыпи, сгрузил тяжесть у шарабана, побежал вверх по склону... и все это – продолжая трепать языком, словно ему ничуть не тяжело. Тон не изменился, одышки нет.

– Не сердчайте, барышня. Я не вор, а налетчик. Или мы делим шарабан, или я угоняю его. Вот и весь ваш выбор.

Да уж... выбор! В мире полно везучих людей. Такие катаются на станцию с приказчиком. Они глазастые и вмиг запоминают приметы шельмецов, чтобы изобличить их перед правосудием. У везучих толпы друзей и сонмы поклонников. Им налетчики не страшны. А спросит

меня чужой приказчик Кир Силыч, куда я дела одолженный на полдня шарабан, что отвечу? «Яков умыкнул, чернявый такой, по два мешка на спину умеет закинуть и с ними бегом бежать».

Кстати, Яков уже тащит новую пару мешков. Ох и торопыга-налетчик! Совсем не дал времени на размышления. Пора закричать «караул!»... или смириться. Итак? На душе спокойно, ничего её, неудобно-хрупкую мою душу, не царапает. Утро светлое, дышится... Ха, кому вообще нужен старый шарабан, и как далеко на нем уедешь? А вон и причина любезности самозванного попутчика, кренится в гравийной яме меж путей: здоровенный чемодан коричневой кожи. Потрепанный, а если приглядеться... Я перешагнула один рельс, затем второй. Нагнулась, пощупала обмотанную веревкой ручку чемодана – починена кое-как, наспех.

– Поведешь на станцию, переписывать документы? Там должен дежурить хоть кто, – то ли посоветовал, то ли подначил Яков, снова неожиданно оказавшийся рядом. Я охнула. Он подмигнул: – Милые барышни так и делают. Милым барышням полагается не о шарабане переживать, собираясь в путь через лес.

– А толку? У злодеев документы всегда в порядке, – отмахнулась я. – Тут или верить на слово, или бежать без оглядки. Вот что я решила: вы, Яков, странный. Что-то в вас не так... но мне оно без вреда. К тому же бегаю я хуже вас, точно.

Парень хмыкнул и поволок чемодан, заодно прихватил и последний тяжелый мешок. Я тоже поучаствовала в погрузке: обняла объемистый, но легкий тюк и потащила с насыпи. Или это тюк потянул меня? Мы боролись, вслепую катились, сползали... До шарабана не добрались: новоявленный попутчик метался бешеной белкой, снова и снова мелькал мимо – вверх по склону, вниз, вверх, вниз... У шарабана он поймал нас с тюком, прокрутил вроде как в танце – и разлучил, чему я была несказанно рада.

Едва тюк перестал застилать весь вид, сделалось заметно, что погрузка завершена. Яков засуетился в шарабане, последний раз поправил вещи. Перелез завал тюков и добрался до передней скамьи. Добыл из кармана мятый, но чистый платок, махнул им туда-сюда по деревяшке. Спрыгнул, откинул подножку и нарочито вежливо подал мне руку.

– Прошу, незнакомка.

– Юна, – я окончательно смирилась с попутчиком. – Просите вы, конечно же, отдать вам место кучера? Не смейте стегать Снежка. Он старенький. Рысью ходит, когда пожелает. Такой у нас с ним уговор.

– Значит, Юна. Раз имя малое, буду звать на ты, – решил Яков, разбирая поводья и отпуская тормоз шарабана. – Хм... Полное могло бы быть Миюна на южный лад, но кожа светлая и волосы каштановые, юга не замечается. И глаза у вас, барышня, серые, ничуть не южные. Значит, или...

– Юлиана.

– Разобрались. Слушай, а что делает в глуши барышня, которая должна или учиться в колледже, или только что окончить его? Но экзамены еще продолжаются, так я слышал. Тебе бы самое то прибыть дней через десять, в окружении писклявых подружек, в сопровождении десятигородных тетушек и прочей чопорной камарильи. С сумочкой на запястье и непременно с зонтиком. Таким... бестолковым, сплошь из дырчатых кружев.

– Знаешь что, налетчик Яков, – я слегка разозлилась, – из тебя самого грузчик, как из волка овчар. Что забыл в Луговой? Ты не хозяин усадьбы, не гость, не приказчик. По рукам судя, и тем более по речи, не грузчик тоже. Сыскные люди глупостями вроде загрузки чужих шарабанов не занимаются. А налетчики не ищут попутчиков, которые запомнят их приметы.

– Да так, – он пожал плечами, наблюдая, как Снежок самостоятельно, при провисшем поводе, разворачивает шарабан. – Людей тут набирают в сезон, и всё пришлых. Я очень даже гожусь. Могу готовить и есть, сторожить и воровать... – Он растер ладонью макушку и посе-

рьёзнул. – Слух был, если приехать пораньше, можно устроиться без рекомендаций, потому что дней за десять к тебе присмотрятся.

Мы помолчали. О чем думал Яков, не знаю. Сама я старалась прикусить язык и не наобещать сгоряча всякого-разного. Я ведь могу рекомендовать. И на жалость меня пробить легко. Чемодан ремонта просит, с погрузкой Яков помог, и вообще неплохой из него попутчик.

Холодок вплелся в порыв ветра. Я поехала и пожалела, что не накинула шаль поверх пальто, ограничившись пуховым платком-паутинкой. Хотя – не холодно. Тут иное: изменение накопилось в недрах леса, в ночной тени, которую самый яркий день растворяет медленно, как весна – старый снег. Может, я выдумщица? То есть я точно такая, но иногда странное делается до того внятным, и я не могу игнорировать его, списывать на воображение.

Прямо сейчас мой день глубоко *затенился*. Это слово я сама выбрала, чтобы обозначить ощущение, которое угнетает душу. По опыту знаю: теперь маета станет преследовать меня весь день. Она будет упрямо скручивать нервы в нитку, наматывать их слой за слоем. И, если к ночи не уймется, бессонница из клубка свежих сомнений понавяжет таких кружев...

– Хочешь, куртку отдам? – по-своему понял глазастый Яков.

– Обойдусь. У тебя правда документы в порядке? Я к тому, что можем встретить проверку. А, не важно. Давай поговорим о чем-то обычном, – нарочито бодро предложила я, хотя сама не верила в сказанное. Но говорила быстро, сбивчиво. – Что я делаю в Луговой? Тоже зарабатываю денежку. Так сложилось, распорядительница колледжа, она второй человек после директрисы, отрядила меня три года назад украшать зал под званый обед. Я была ученица, мне не заплатили, но и с меня за учебу не взяли, так и дотянула до выпуска в ту весну. Я рисовала эскизы, со всеми их обсуждала, а после заказывала ткани, цветы, вазы. Сошло удачно, и меня передали другому нанимателю. Я оформила цветники и сад в кофейне у Лебяжьей заводи. Оттуда меня перекупил приказчик на весь следующий сезон, но уже в ресторан «Муар». И пошло-поехало. Суетно, но интересно. Опять же доход... В эту весну трудный заказчик нашелся на мою большую голову. Богатый дядя начитался сказочек. Вынь да положь ему посреди лета весенний день!

– Ты кричала про первоцвет, – кивнул Яков, и я заподозрила, что прибыл он в почтовом вагоне, договорившись за денежку или как-то еще. – Это не цветок, а работа?

– Да. Целое здание с внутренним двором отдано под фальшивую весну. В подвалах безумные запасы льда. Наниматель желает увидеть вибрирующий свет и нежность оттенков, как на картине Дэйни. Я подбираю цветы и цвета, размечаю дорожки, расставляю скамейки... Затем приезжает тот, кто принимает работу, пьет кофе в беседке. Или что он делает? Не знаю, не видела. Но после мне говорят: всё неплохо... и указывают иную картину-образец. По слухам, в коллекции этого богатея три работы Дэйни с весенними пейзажами. Надеюсь, именно так. Четвертой переделки нам не завершить. Нет времени, нет цветов... даже льда маловато.

– Сволочь? – Яков задумчиво приподнял бровь.

– У него очень много денег. Слишком. А деньги... – я пощупала воздух, будто в нем могла найтись банкнота. – Деньги штука тяжелая.

– Да ну, – Яков рассмеялся и отмахнулся. – По мне так деньги ничего не весят, пока они сами по себе и ты не лезешь поднять их. Я и не лезу. Но знаю тех, кто надорвался и тех, кто умеет легко их подбрасывать. А вот ты, барышня, неденежный человек, другая порода. С чего ж тебя задевают деньги? Давай, говори, раз не молчитесь.

– Ну... если начать издали... люди нелогичны. Сперва мы решили, что имеем право на весь мир. Затем условились, что наша жизнь священна, а жизни иных созданий можно отнимать, – забормотала я, путаясь в мыслях и удивляясь тому, что налетчик Яков умеет слушать... даже на душе теплеет! – Еще до денег люди принялись азартно убивать своих священных сородичей. После – хуже, и жизнь, и смерть стали оценить в деньгах. Взять хоть веру в Единого.

В каждой притче – о душе, о том, что надо укреплять стержень духа. Мол, на прочный стержень судьба наматывается ровно, как нитка на веретено.

– Проповедь, – Яков нарочито широко зевнул и подмигнул: – Дальше.

– А что дальше? Даже после проповеди подносик по храму пускают. И в притчах от храма что ни абзац – деньги, власть и подлость.

– Проще никак? – Яков pokrивился: – Мне деньги безразличны. Нужны – добуду. Не нужны – выброшу. По миру гулять надо налегке.

– У меня всегда сложности на ровном месте, такая дурная голова. И я все равно буду болтать. Мне сейчас надо. Так... Ага, вот я к чему вела: душа и деньги – как вода и масло. Не смешиваются. А если смешиваются, то деньги вытесняют душу. Взять хоть совесть. Её можно продать, но нельзя купить: пропадает. Та же беда с тактом. Мой наниматель совершенно бестактный: способность понять, как ты достал всех, давно растворилась в деньгах. Я боюсь денег. И, кажется, никогда не пойму, зачем люди устроили все до жути нелепо. Ну – что деньги и есть ценность. Они, а не душа и совесть. Грустно. В деньгах растворяется все главное.

Я вздрогнула, растерла мерзнувшие ладони, сжала в замок: где-то безмерно далеко треснул ледяной монолит! Волосая, тончайшая тень окончательно отделила беззаботное утро от серого дня. Я кое-как расцепила замок пальцев, подняла тяжеленную руку и глянула против солнца из-под ладони. В обычном мире ничего и не изменилось... но для моей души свет стал *смурной*. Что за напасть? В эту весну меня гнетёт злее обычного, не в радость даже Луговая с её прелестной природой.

Яков проследил направление моего взгляда и недоуменно хмыкнул, когда над лесом закружила стая – выше, гуще... Что за птицы, не скажу. Не рассмотреть мне.

– Слух у тебя! Я не разобрал, – удивился Яков. – Разве охота теперь не под запретом?

– Никто не стрелял, это... другое, – буркнула я. – Дай куртку. Везучий ты. Встретил бы меня теперь, зря просился бы в попутчики. Когда день в тени, я боюсь всего. Забилась бы в угол вокзала и сидела, дрожала.

– Да ну, – вяло удивился Яков, продолжая рассматривать воронку птичьей стаи, которая все шире раскручивалась над лесом. Не оборачиваясь, снял и отдал куртку, встал в рост. – Ничего себе переполох! Чайки, горлицы, крупные голуби... и мелочь суетится низом, всякие синицы-малиновки... Что их, таких разных, сбilo в кучу? О, утки. Надо же, я слышал, тут разводят черных лебедей, но не поверил. Вон и они.

Яков говорил и говорил... я была благодарна ему. Когда рядом человек, тень отодвигается. Она не злая, просто чужая. Своей инакостью тень и тяжела. Тень... я не ведаю, есть ли она в настоящем мире. Может, только в воображении? Такую тень, готова поспорить, хоть раз ощущал каждый. И не желал заметить! Обдаст человека холодком, – он поёжится, буркнет матное словцо и отвернется. Пить начнет или вовсе, завещание вдруг составит, хотя молод и здоров. У внезапной смены поведения нет внятной причины, но тень падает в душу, и там делается... зябко. В обычном мире похожее напряжение копится перед грозой. Нить незаметно натягивается, чтобы в миг разрыва хрустнуть молнией – сделаться явной!

Одни люди назвали бы мою «тень» предчувствием, другие – маятой, меланхолией. Каждому удобно свое пояснение, позволяющее отгородиться от странного. У всех получается отгородиться. Только я не справляюсь.

– Хм... совесть можно продать, но нельзя купить. Юна, мысли у тебя – крючком через петлю тянутые. Но эта вывязалась складно.

Яков устал пялиться на птиц, сел. Растер макушку, и стало понятно, что такова его привычка. Может, прежде он ходил бритым наголо? Или болел и облысел? Что за странные идеи меня донимают.

– Кое-кто сказал мне похожие слова, давно. Знаешь, вот он понимал деньги! Тебе в копилку мыслей подарочек из его мыслей вслух: деньги принадлежат царству земному, они –

самое смертное, что есть на земле. Так он объяснял отличие денег от души. Душа многомерна и бессмертна, а деньги... они все здесь. При жизни сильны, а после смерти их сила исчерпывается.

– Занятно, – я удивилась, что у налётчика есть такие знакомые. – А еще расскажи.

– Нет уж. Я мешки грузил, а ты грузи мысли, – уперся Яков. – Вот *живы*: те самые, которых по деревьям кличут живками, а то и злее – косоглазыми шептухами. В них вред или польза? На такой вопрос нет прямого ответа. Самое то – твои кружева из слов и вздохов.

Снежок фыркнул, подобрался и увереннее влег в хомут. Ускорил шаг, довел темп движения до средней рыси... Он любит лесную дорогу, а еще знает, что после пробежки я дам передышку на большой поляне. И травы нарежу впрок, и веток еловых.

Шарабан вкатился в кружевную тень опушки. Отсюда и глазастому Якову не рассмотреть стаю птиц. Я не завидую его зрению, хотя, чего уж... да, я желала бы научиться различать детали ясно, издали. Пожалуй, остроглазых не донимают рассуждения о тенях: кто хуже видит, тот и домысливает.

Лес хорош в любое время года, но преддверие лета для меня особенное. Кажется, мы с миром одного возраста: мне девятнадцать, мое лето впереди. Да, было трудно пробиться и подрасти, было холодно и темно, но зима – в прошлом. Никто не подъял корни, не иссушил почки, не ободрал кору. Лес и я – мы проснулись, раскрыли ладони листьев и подставили солнышку. Нет на юной листве ни крохи пыли, ни пятнышка парши. Зелень уже играет оттенками радости, а тень под деревьями еще прозрачна. Летом она загустеет. Зрелость делает людей мудрее, деревья мощнее – но ясность первой улыбки невозвратна, как детская чистота души.

Лес купается в рассвете, воздух весь розовый! Даже мой смурной день посветлел. Оглядываюсь, пробую выпрямить спину. Трава уже высокая, но цветы в ней хорошо видны – синие, звенящие. Синь – улыбка весны. Лето щедро рассыплет по лугам крапины многоцветья, а после отдаст предпочтение желтому, маскируя признаки увядания...

– Давным-давно, еще у опушки, – шепнул в ухо Яков, – я задал вопрос. Юна, куда ты нырнула? Слишком глубоко. Выбирайся. Я сделаю вид, что не соскучился ждать ответа и повторю: мне интересно твое мнение о живках.

– А? Что? Да... То есть живки, – забормотала я, очнувшись. – Живки... они, как я понимаю, встречаются через обстоятельства во что-то главное для людей. Если ты не просто так упомянул деньги и бранный мир... то, на мой взгляд, власть жив сродни денежной, она вся тут, и не имеет силы по ту сторону смерти. Мне так видится.

Договорив, я спрятала вздох огорчения... стал бы этот Яков слушать о молодой листве и цветах синее неба? Что за привычка у налетчика – помыкать людьми, выбирать тему беседы, настаивать на своем? Или он отчасти прав, это я молчу невпопад и невежливо игнорирую его?

– Еще, – капризно велел Яков. – Что это за кружево из слов? Куцее какое-то. Фи.

– Само слово «жива» намекает на пользу и свет. Ну, раз созвучно с жизнью. Храм их не порицает, власти не запрещают. Куцее у меня рассуждение? Так понятно, почему: я к живкам ни разу не ходила. Понятия не имею, в чем состоит их дар. Но даже так уверена: с их даром – как с деньгами и совестью. Лезть в главное нельзя, тем более глупым... бабам, – я приоткрыла рот, а Яков хихикнул. – Да, как с деньгами: когда жадно хапаешь что-то понятное, растворяется что-то неощутимое. Хотя есть настоящие живы. Я точно знаю. Я даже знакома с одной. Она особенная и в душу не лезет, деликатная очень.

– Угу, – вроде бы согласился Яков, осматриваясь. – Не нравится мне тутошняя тишина. В лесу не шалют недоноски?

– Что им, жить надоело? Десять дней, как жандармский кавалерийский полк прибыл. Не весь, конечно, только начальство и красавчики, которые из службы знают лишь парад. Сыскные люди тоже копят, хотя их не видно. А тишина... я же говорила, нас могут остановить. Есть тут один...

– Жизнь и кошелек! – потребовали из густого орешника гнусаво и ничуть нестрашно.

Яков подобрался и зачем-то опустил руку на колено, а после взялся поправлять брючину ниже, до самого сапога.

– Готовь документы, – я уняла подозрительность попутчика и добавила быстро и тихо: – Господин Мерголь здесь вроде городского. Его прозвище Мергель, он и сам себя так зовет. Потому что имеет дар присутствовать всюду, без него никакой урожай не снять, понимаешь? По чину вроде никто, а по делу шишка-шишка! По характеру то кремь, то известка: не разобрать. С ним и приказчики богатейших имений не ссорятся. Зато полоумная Дуська, что пирожками торгует, посылает его далеко и безнаказанно.

– Юлька, дура девка, опять нагребла сор в телегу? – уточнил первый на всю Луговую любитель засад. Он успел отряхнуть штаны и куртку, выломал ветку и двинулся к нам, помехивая этой самой веткой очень двусмысленно. То ли мы комары, то ли от нас пахнет... – Тебя, что ль, обобрать? Больше некого, ага. А тебе надобно, да-а... Как эту дрянь зовут? Лиану помоечную, с задворок дома Кряжевых.

– И-чу.

– Ичу, не ичу... Юлька, ты где страх потеряла, ась? Мои люди что, наняты твою почту таскать? Им же ж мзду суют за бесову ичу, чтоб ее... – Мергель подмигнул и громко шепнул: – Продай уже. Выгоду пополам: мне деньги, тебе облегченьце.

– Нельзя, ее погубят.

– Тогда мне отдай. В дар, ась?

– У вас оранжереи нет, садовника нет, и вообще...

– Вот тут замри. Обижусь, – предупредил Мергель и резко отвернулся, щурясь и принюхиваясь, словно от Якова нехорошо пахло. – Ичи инаньской тебе мало, новую помойку обобрала. Экий... фрукт гнилой. На рожу евонную глянь, ага? Сиделец дальний, иль охотничек оттудошный же. Все одно, ножей при ём две штуки самое малое. А ты мне чё обещала? Герань махорчатую пурпурного тону. Чикнет он ножиком тебя, а без герани кому страдать, ась? Нет, Юлька, покудова герань не сдашь, изволь жить в здравии.

– Не герань это, а инаньской древовидный пион, – поправила я. – Кстати, с той же помойки, вот! Он уже пошел на поправку, можно пересаживать на молодой луне. Оранжерею вы строите, все как оговорено?

– А то, – бодро соврал Мергель. Поморщился, *очень* небрежно наблюдая, как Яков прыгает из шарабана, кланяется и протягивает бумаги. Еще более небрежно Мергель пошуршал листками, не разворачивая их и кривя тонкие губы под червячными усами. – Да-а, не сезон для урожая. Вот приказчики поедут, уж я не упущу... Юлька, ты хоть додумалась бумаги в вокзал снести на перепись? Нет же. Ась?

– Ну я...

– Мутный хорёк, – выцедил сквозь зубы Мергель, оттянул ворот на шее Якова и зачем-то осмотрел кожу. Сунув бумаги Якова ему же за пазуху, и сразу отпихнул моего попутчика, мазнув ладонью по лицу. – Чтоб сей день заселился и записался в жандармерии, хорёк. И запись ту обновлять понедельно. Понял ли?

– Да, господин, – Яков деревянно поклонился.

– Бедовый ты, я породу чую... Юльку благодари, что в попутчики взяла, иначе гнал бы в шею или тут пристрелил для покою своей душеньки. Но задохлому пиёну без Юлькиных забот конец. Ага, ась... Юлька, он как, мировой кряхтун?

– Он злодей, и очень дельный, – мне стало весело. Яков получил-таки рекомендацию, причем задаром.

– Ага. Угу, – Мергель взбодрился. – Подари лиану, отпущу хорька. Ты жалостливая, всю гниль жалеешь.

– Я подумаю.

– Тогда ладно, езжай. Укажи ему мою хибарку. Недельку побатрачит, и то польза. Юлька, – Мергель, худой и рослый, подкрался, сломался пополам, перегнулся через борт шарабана и зашептал намеренно громко, буравя меня мелкими глазками: – Какую бомбу спроворил Дюбо, ась? Говори, куда спрошено без задору.

– Кафе «Первоцвет», вы же знаете. В их садовом доме, и особенно во двореке, будет в указанные дни все так, словно весна только народилась. Звонкая капель, снег на терке натёртый, и посреди – цветущая пролеска. Двадцать видов сортовых и еще пять лесных, все оттенки подобраны и проверены. Уже бутоны набирают.

– Юлька, муть про пролеску не понял, но такую ж всади теще в дворик. Именины у ней. А какова моя теща, тебе ведомо, ась?

– Пролеска, или первоцвет, без холода чахнет, – приметив, как Мергель зло хмурится, я быстро добавила: – Но могу сделать композицию на настиле с ледяным основанием, чтобы продержалась дней пять. В тени, под навесом.

– Во-во, сбавай. Я уж отплачу. Смекаешь, ась?

– Добрый вы, заботливый, – потупилась я, твердо зная, что деньгами не получу ни копейки. Впрочем, как обычно.

– Ага, – теряя интерес, буркнул Мергель. – Езжай, но берегись: шныряют тут разные. Слух был, как бы не выползок. Во дела, до первой же грозы...

Глубокомысленно вытаращив глаза и пошевелив усами, наглейший в мире человек-таракан отцепился от шарабана и убрался в засаду. Яков мигом оказался на скамье, подхватил поводья. Снежок зашагал, поводья боками и вздыхая протяжно, жалобно. То ли чуял чужих, то ли был в огорчении. Не даст чужак-возница отдохнуть на любимой поляне.

Яков отстраненно молчал. Я подождала, и еще подождала... Осторожно похлопала ладонью по кулаку с намертво зажатými поводьями. Удивилась: руки аж каменные, до того жесткие. Совсем сухие – кожа, кости и жилы. Необычно.

– Эй, ты разозлился?

– Нет.

– Ладно, поверю, – вдруг разозлилась я сама. Вздохнула, стравливая раздражение, и добавила: – Мергель по весне вроде таракана, на всякой кухне хозяин, пока кухарка свет не запалит. Кусачий разносчик бацилл дурного настроения. Уж как он изводил меня с пионами! Проверки в пансион, где я жила, слал трижды в неделю и чаще, меня выселяли... Я стала хуже прокаженной! Это продолжалось, пока я не смирилась с его неистребимостью. Запросы его сплошь дурные, вычурные и без оплаты. Но знаешь... он не злодей. Он даже в чем-то милый, если вглядеться.

– Милый таракан? Ну-ну, – выдавил Яков. Прикрыл глаза и помолчал. – Кока. Ненавижу служивых, крепко подсевших на модную дрянь. Ты не знаешь, что такое дрянь, пыль, кока? А, девочка из пансиона? Не знаешь и не надо.

– Яков не на таракана зол. Просто он человек города, – сказала я себе вслух. – Люди города безвылазно живут в тени. В черной, резкой тени большой несправедливости. Они не умеют прощать. И они мало радуются.

– Да уж, есть такое дело. С некоторых пор я живу в тени, – усмехнулся Яков.

– Может статься, ты надежный друг, но все же не уметь прощать – трудно. И больно. Ты бы как-то... ослабил поводья, а?

– Кружевные бабские сопли. Прощение плодит ублюдков, верующих в безнаказанность. Прощать – значит, потворствовать злу, – сообщил Яков. И добавил мягче: – Он такого типа урод, что принимает дурь до зари. Не устраивай с ним дел по утрам. Он в это время явь от бреда не отделяет. Убьет и не заметит до полудня, а после прикопает... под пиёном. Так-то.

– Яков, ты вообще кто такой? – задумалась я. – Не грузчик. Не вор, не...

Яков резковато склонил голову, повернул лицо и глянул снизу-сбоку. Мне показалось, что когда-то у него была челка. Привычка годилась бы для челки, падающей на глаза, на щеку. Еще мне стало вдруг холодно. На мелкие черные глазки бросить челку... и взглянуть сквозь нее не решишься, и ответного взгляда не поймает.

– Пианист я, – добил меня Яков... вот же человек-загадка! Помолчал, выждал, покуда я перестану кашлять, и принялся жаловаться с охотой, похожей на издевку: – Для большой сцены нет связей, да и способности средненькие. Для кабака характер негодный. Оч-чень зави-дую скрипачам и трубачам. Выступай хоть на улице. А я невольник, продаюсь в найм, едва увижу толковый рояль. Однажды заметил, как везли по городу «Стентон» ореховой серии, их всего десять штук в мире, номерные. О-о, я побежал следом, я орал в голос, чтобы наняли в настройщики. Н-да... как вспомню, ребра болят. Но орехового я пристроил в хороший дом. И не только его. Н-да, зря разболтался. Сменим тему. Как ты относишься к выползкам? Очень интересно об этом послушать. Плети попушистее, не то вернусь к орешнику. Мне вдруг захо-телось сплющить таракана. Хрясь! И все дела.

– Ты что, убил кого-то? – ужаснулась я. – Или ты все же трепло, а? Лучше бы ты был трепло. Мне страшно.

– Ну, малость трепло, – Яков покосился на меня и снисходительно добавил, ведь я была совсем зеленая: – Выдохни. Не убил, но отметелил. Вот только не того человека, не там, где следовало... и все прочее тоже вышло криво.

Я попыталась смириться с непостижимой мужской логикой, в которой проблема допусти-мости избиения сводится к выбору объекта, места и времени. Попыталась, но... стало тошно. Бить людей? Вот так запросто бить живых людей? И даже, полагаю, незнакомых!

– Выползки, – Яков запрокинул голову и глянул в небо, как будто отсюда мог увидеть птиц, кружащих высоко и далеко. – Охотно послушаю о них.

– А, ну тут вовсе особый случай, – я попыталась отмахнуться... глянула на Якова и бук-вально обрезалась об ответный взгляд. – Не моего ума дело. Вот.

– Опять колючки дыбом, – мирно предположил Яков, даже добавил улыбку. – Да ладно тебе. Честно слово, я не налетчик... уже давно.

Лучше бы помолчал. Зачем я разрешила невесть кому грузить мешки, зачем перешла на «ты»? С какой стати болтала про неразменные ценности и свою подработку? Даже недале-кий грузчик понял бы, что я барышня бедная, но выгодная для помощи в найме и получении рекомендаций. Яков умен, он понял куда больше. Но сменил тему, ни о чем не стал просить. Иначе я задумалась бы: насколько случайно он оказался моим попутчиком? И чемодан без ручки! Нелепая штуковина для тертого странника. Определенно, чемодан имел одно назначе-ние: разжалобить «милую барышню».

Мысли выкладывались – кирпичик за кирпичиком. Раствором для стенки отчуждения делались любые сомнения, совпадения...

Таких придурочных как я, свет не видывал. И ведь не умнею, что показательно. Раз за разом упрямо наступаю на те же грабли. Запросто знакомлюсь невесть с кем, выворачиваю душу. Тяну в дружбу... А после сама же ломаю хрупкую привязанность! И ощущаю, как про-валиваюсь, захлёбываюсь в сомнениях! Причем всё это – молча. Тонкий лед беспричинного доверия ломается, и мне некого звать на помощь, это пугает до оторопи. За страх я себя нена-вижу. Еще больше – презираю за неумение набраться ума.

Сейчас согнусь и заплачу! И причин презирать себя станет слишком много. Их и так – выше крыши! Причин, никому кроме меня не заметных.

– Юна, тебе нездоровится? – насторожился Яков.

Зачем он задал вопрос? Теперь станет еще хуже. А ведь я громко думала: молчи! Если бы он помолчал подольше, я бы отдышалась. Увы, громко я думаю или тихо, всем вокруг безраз-лично. Мысли шумят только в моей голове.

– Знобит, – едва слышно выдавила я, ненавидя себя.

Мы знакомы от силы час, а я уже соврала и отгородилась. Когда начинаю разговаривать вот так, мне с каждым словом все труднее вернуть прежний искренний тон. И почему он спросил о выползках?

– У меня есть плед, – Яков не спрашивал, он распоряжался. Уже открыл чемодан и роется. – Перебирайся, я сдвинул тюки. Сядь, мягкое под спину. Куртку под голову.

– Снежок любит щипать траву на большой поляне, – я попробовала выбраться из полынни отчуждения, о существовании которой никто кроме меня не знал. – И надо нарезать веток елки. Молодых.

– Елки? Не зима же, – Яков поправил плед, так что я оказалась укутана до самого носа. От ткани остро пахло перцем, и я чихнула, завозилась. – Будь здорова! Ладно, нарежу, при условии, что ты закроешь глаза и сделаешь вид, что отдыхаешь. Оно тебе в пользу.

В пользу? Да ничуть. Всё же я закрыла глаза. Сразу подумалось: ох, не люблю быстро переходить на «ты». Люди вроде Якова делают это легко. Для него дистанция в разговоре настоящему не меняется от выбора тона и слов. Роли не меняются. Яков назвался налетчиком и подсел в шарабан, чтобы попасть в Луговую не чужаком, а своим человеком, ведь я представлю его любому встречному. Он с самого начала задумал получить рекомендацию. А я – про душу, совесть... Обидно. И, он прав, что я за существо, если у меня всё сложно на ровном месте, все больно и неловко?

Он понял и это... Тем более не стоило ему бесцеремонно спрашивать о живых, о выползках. Впрочем, он не знал, что мой день *затенился*, что именно по этой причине я взялась забалтывать душевный непокой и увлеклась. С разгона почти сказала лишнее. Слова потребовали бы пояснений. Пояснения вынудили бы шире раскрыть душу. А дальше... Откуда Якову знать, что я – устрица? Лежу на дне озера жизни, створки открыты, всё в порядке. Хлоп! Это я почуяла неладное. И как снова вскрыть меня? Ждать, долго и тактично! Но люди поступают проще. Поддевают ножиком живое и режут, необратимо отделяют пользу для себя – от прочей шелухи, важной лишь устрице.

Сижу в коконе пледа, поджав ноги и плотно обняв колени. Дрожу, хотя солнышко поднялось, день прогревается, да и одета я почти по-зимнему. С закрытыми глазами думаю о выползках тихо-тихо. Да, я мыслю с разной громкостью. Так мне кажется. Обычно то, что я думаю шепотом, вслух не выговариваю ни перед кем. Кто вообще такой Яков? Недавно я готова была выложить тайное ему – то есть почти что первому встречному...

Если б я не зарылась в плед, начала бы говорить о выползках. Издали: с неопасного и общеизвестного. Мол, что за вопрос, читай о выползках в газетах. Еще есть календари, где отмечены годы их активности. Известно, что им важна сырость, что первая гроза – их время. Выползки, если верить в «общеизвестное» – та еще формула бездоказательного обоснования! – происходят не из нашего мира.

Храм называет выползков, следуя традиции древнейших текстов, «бесь околечная». По поводу беси всякий служитель имеет догматическое суждение: при ее создании не обошлось без нечистого, её проникновение в мир – попущение божье. Наука именует выползков «инфинес», факт их существования подвергает сомнению, хотя за живого обещает солидную награду... а любого свидетеля проникновения выползка в мир тянет на долгую беседу к врачам и дознавателям.

Газеты в выползках не сомневаются, расписывая в красках, багряных и черных, кошмарные их преступления. Нелюди воруют детей и погружают в отчаяние целые поселки: слабаки там вешаются, пока у прочих, кто покрепче, трескаются зеркала и молоко в погребах киснет... Поскольку природа и возможности выползков непонятны, кое-кому они полезны. В прошлом году близ столицы, если верить «Губернскому вестнику», беси сгрызли двенадцать вёрст телеграфного кабеля. Вот уж прибыль была богобоязненным ремонтникам!..

В злобность выползков верят и темные селяне, и просвещённые горожане. Легко заподозрить жажду крови у полулюдей-получервей – когтистых, зубастых, выглядящих на всех рисунках омерзительно-осклизлыми. Историй о коварстве и силе выползков год от года меньше не становится. Вот почему селяне, гонимые суеверным страхом, спешат проверить после весенних гроз глинистые склоны. И делаю это без всякого приказа властей. Служители храма не отстают, тоже ищут следы на траве и камнях. Ученые составляют карты свидетельств, чтобы уточнить закономерность появлений по времени дня, социальному климату в ближних селениях, удаленности от водоемов и так далее. Жандармы, и те принимают к острому, особенному запаху «свежей могилы» – то есть просто взрытой земли.

Когда мне было пять, вечерами я, как все дети, свистящим шепотом пересказывала приятельницам жуткие истории. В конце полагалось завизжать «выполз!», резко вытянуть руку и вцепиться кому-то в плечо, а лучше в шею. И тогда уж орать хором! Пошумев вволю, я легко засыпала, веря, что служители храма, тайная полиция, белые живы, brave городские – все они неустанно спасают мир от гибели.

В шесть лет я утратила фальшивый покой. Где мы жили? Откуда ехали, сколько нас было, кто из взрослых держал меня за руку? Всё увязло в тумане забвения... Уцелели лишь обрывки ощущений, звуков. Боль в ушах: мы шли от платформы, паровоз дал гудок, который длился и длился. Грязь на руках, на лице: жидкая и клейкая, летит комьями. Увернуться нельзя, я вжата в орущую, тугую толпу. «Хэ!» – резкие выдохи в сердцевине толпы, когда мужики опускают с силой что-то тяжелое... Кошмарный костяной хруст.

И вот отчетливое воспоминание: белая длинная лапа, вся в грязи и крови. Когти, темные со стальным блеском, пропахали борозды в земле, выбили искры из камня, раскололи его...

За мгновение до того, как выползка прикончили, толпа отхлынула, раздалась – и я увидела его голову, совсем человеческую. Лицо было сплошь покрыто грязью, сквозь которую вдруг прорезались, распахнулись из-под век, глаза. Светлые – и полные тьмы! Выползок посмотрел на меня. Взгляд был усталый, обреченный... спокойный. Взгляд был – колодец! Он постепенно, углублялся... делался бездонным, полным смертной тьмы!

С тех пор взгляд выползка – мой ночной кошмар.

Недавно я была готова выложить Якову даже это. Я бы не остановилась, начав говорить. Я бы сперва шептала, а после кричала в голос! Потому что день смурной, и хуже – птицы мечутся над лесом... Я видела такую же стаю, когда убили выползка. Видела, помню и никогда не смогу забыть! В миг смерти выползка с неба пала тень, я подняла голову... и рухнула без сознания. Невозможно было перетерпеть, перемочь сводящее с ума зрелище хоровода черных птиц в сером киселе облаков.

Корни моей душевной маеты – они и поныне там, в незабвенном черном дне. Корни не сохнут с годами, а растут... сперва тьма проникала лишь в сны, после стала затеняться дневная явь, а недавно добавились ощущения ветра, мороза на коже и – как сегодня – взгляда в спину. Взгляд давит, изливает тень, окутывает ею, как туманом.

Мне бы полагалось бояться тени – панически... но все несколько иначе. В основе не страх, а стыд. Тот день мою душу пронзил именно стыд. Его иглы были, как нити паутинки: незримые и вездесущие. Я бы так и сказала Якову: страх можно перемочь, а вот стыд – нельзя. Его посылить затоптать вместе с совестью – или удалить, исправив ошибку. Но эта ошибка толпы непоправима, увы... Люди в тот день утратили всё человеческое. Толпа была чудовищем, и я ощущала этот вой: я была плотно впрессована в массу людского безумия.

Выползок все это видел... и понимал. Во взгляде не было ответной ненависти, только боль и досада. Бездушные беси, жаждущие крови, так не смотрят. И почему на меня? На меня одну... Или я выдумала? Мне было шесть, разве могу я помнить? Спросить бы хоть у кого! Но я молчу тринадцать лет, чтобы не попасть на беседу к врачам, храмовым попечителям душ

или еще к кому пострашнее. Ведь не просто так пишут в газетах о злодеяниях выползков. Кто станет искать их – бесей, без оплаты, неустанно, если сам не напуган до полусмерти?

И вот что я спросила бы у Якова, он же умный: если выползков ищут все, кто настоящий заказчик поиска? Живые выползки ему нужны – или мертвые?

– Кгм... барышня-а!

Я вздрогнула и вернулась в день сегодняшний. Голос Якова звучал странно: начал фразу энергично, а к концу распевно потянул «я-аа». По-северному, по-селянски. Что за причуда? Пришлось выкопаться из пледа, перебраться на переднюю скамью: со дна шарабана Якова не было видно.

Оказывается, пока я молча страдала, Снежок добрёл до поляны, был выпряжен и отпущен на выпас. А Яков напялил грибок войлочной серо-бурой шапки, добавил к этой сельской экзотике безрукавку того же бесцветия, источенную молью в художественное кружево. В маскарадном виде «налётчик» и мялся шагах в десяти от шарабана. Сопел, вытирал нос рукавом. Чемодан верным псом жался к ноге.

– Что за балаган на выезде? – взбодрилась я.

– Ну, я эта... в попутчики, значит, жалаю попроситься-и, – отвесив поклон, гундосо затянул Яков. – Барышня-а, на работы я иду. А токмо ноги сбил, да и ручка у чемодана, извольте глянуть... Беда у меня, барышня-а. Слезно молю, пособиите. Звать можно-а, – Яков уставился в зенит, словно мог прочесть там ответ. Шумно втянул носом, – А-аа... Яном. Человек я перехожий, тама потружусь, тута пригожусь. Вот так вот-а.

– Знаешь что, Ян перехожий, позови-ка братца Якова, – посоветовала я, невольно хихикнув. – Он поумнее будет.

– Дык вы с ним навроде в ссоре, барышня-а, – скорбно вздохнул новоиспечённый селянин. Уж точно он был не налётчик, да и «пианину» в жизни не выдывал...

– Позови-позови, – настояла я.

Войлочная шапка оказалась мигом убрана за спину. Злодей, бессердечно отпихнув верный чемодан, подкрался ближе, на его лице образовался прищур ушлого горожанина.

– А чего-то среднего между Яковым и Яном в запасе нет? – быстро уточнила я. – От вашей двуклости голова кружится, мирные злодеи.

– Я не хочу, чтобы ты молчала всю дорогу, затем высадила меня и подумала с облегчением, что наконец-то отделалась, – нормальным тоном сказал пианист-налётчик. Облокотился на борт. – Допустим, я чересчур легко схожусь с людьми, и барышни, если они по-настоящему милые, полагают меня пронырой. Но я не так плох, хотя по мере сил использую людей. Вот честное слово Яна и зуб Якова в заклад: не со зла. – Он украдкой глянул на зажатую в руке шапку. – Поправочка: зуб с Яна. С меня только слово.

– Прав Мергель. Вы развесистые фрукты, – злиться стало невозможно.

– Не надо на меня так слезно молчать, – попросил Яков. – Да, я не гость, не грузчик и не налётчик. Но пойми мою беду: даже если в какой-нибудь беседке обнаружится бесхозный рояль... для кого мне сыграть? Другие барышни слушать не станут. А я неплохо играю, правда.

– Н-ну! Отчего ж я не слышала ни разу о роялях «Стентон»? Упомянул бы хоть дом Ин Рольте, ведь якобы из-за них и название инструмента возникло. Или мастеров с историей вроде «Тоссер и Куфф»...

– Ореховый «Стентон», знаешь ли, несравним ни с чем, – Яков возмутился, но сразу сник. – Я был честен. Сто лет назад мастер этой маленькой фирмы создал ореховую серию, из-за которой с ума сходят ценители. Но их мало. Роялей. И они все... а, не важно. Откуда б тебе знать.

– Ты очень странный налётчик. Но сердиться на тебя стало сложнее, я тебе верю.

– Вот! – Яков расплылся в улыбке. – Давай мириться. Со мной легко: не хочешь рассказывать, не надо. Ума не приложу, чем огорчил. Да, легко схожусь с людьми, но в душу не лезу. Не убиваю никого просто так, даже быю редко. А что делать, если лезут отнимать мои деньги?

– Зачем коня выпряг?

– А, это? – он прищурился совсем нахально и сообщил полупшепотом: – Набьюсь в попутчики, как конюх. Милые барышни вряд ли умеют запрягать. И хомут тяжелый.

– Все же ты отпетый злодей.

– Все же мы опять разговариваем, – хмыкнул отпетый злодей.

Метнулся за чемоданом, кошкой вспрыгнул в шарабан. Уложил коричневого кожаного монстра на лавку, распахнул его пасть и смело сунул руку в щель меж двумя клыками-замками. Добыв жестяную коробку, захлопнул эту пасть со стуком. Я успела заметить, что чемодан почти пустой... А Яков тем временем высыпал прямо на темную потертую кожу сало, хлеб, соленый сыр.

– Давай отпразднуем мировую, барышня-а! Сальце домашнее, на вишневых веточках сам коптил-старалси...

– Зуб Яна не сломай сгоряча. Хотя знаешь... ты, кажется, обычный бродячий кот, – предположила я. Вздохнула и заверила себя: – вроде и не бешеный? Эй, погоди, разве можно резать сало на крышке чемодана? Она грязная, а еще она будет поперчена.

– Можно, – отмахнулся Яков.

Откуда взялся нож, не видела. Но, странное дело, меня это больше не беспокоило. Яков прав, мы ничем не обязаны друг другу. Попутчики – удобная дистанция для общения. Меня всё устраивает, пока он придерживается самим же им придуманных правил игры. Хотя... разве коты придерживаются хоть каких-то правил?

– Сыр не трогай, он плесневый, бери сало, я срезал пыльный край, – позаботился обо мне Яков. Вкрадчиво добавил: – Готов спорить, ты жалеешь выползков. По лицу было видно, чуть не сболтнула сгоряча, но поостереглась. Зря, и так понятно, у тебя наивный склад души, ты не веришь в беспросветное злодейство. Я другой. Но я наблюдал храмовую охоту вблизи. Еще трижды бывал на месте, где селяне давили выползков. Беси безразличны мне. Они чужаки. Но то, во что люди с перепугу превращают себя... Я спросил о выползках, потому что знал, ты наплетешь занятного. Как о душе, живках и деньгах. У меня копится огромнейшая куча вопросов, к которым требуются твои не прямые ответы. Я готов говорить о самом разном и даже простеньком: городских, пансионе, жизни в стольном граде Трежале и за его пределами. Давай уговоримся: не годеи вопрос – скажи «следующий». Я понятливый... когда Яков. Зато Яном я нелюбопытный и душевный.

Яков вмиг съел сыр, покосился на меня – сыта – и запихнул в рот всё оставшееся сало! Его щеки раздулись по-хозячьи. Это тоже была игра, Яков принялся жевать, тем исключив возможность дальнейшей болтовни. Спрыгнул из шарабана и направился к Снежку, чавкая нарочито звучно. В нем и правда жили два человека, селянин Ян и горожанин Яков. Или, точнее, он был на самом деле кто-то третий, а цветастых парней надевал, как иные надевают одежду. Он позволил мне узнать такое о себе – и это следовало ценить. Пусть даже он умен и уже понял, что я не болтливая. Все равно – доверился.

– Трудно быть пианистом в кабаке? – спросила я, пока он впрягал Снежка.

– М-мм, – Яков торопливо дожевдал сало, с заметным усилием проглотил и вздохнул. Подмигнул мне, отмечая, что разговор продолжается по моей инициативе. – Устроиться просто. Дотянуть на обедах до первой выплаты еще проще. Настроить инструмент и играть, не страдая по поводу звука, невозможно. Получить обещанные хозяином денежки, да еще сбереечь чаевые... совсем вообще никак невозможно! – Яков растер скулу, сжал кулак и внимательно изучил костяшки пальцев. – Но у меня своя метода. Держу нос по ветру и очень быстро

бегаю. Юна, не делай такое лицо, разозлюсь! Никто и ничто не заставляет меня жить подобным образом. Это сознательное решение.

Дальше мы ехали мирно, говорили мало, зато молчали без напряжения. Почти. Яков, конечно, заметил это «почти», но сделал вид, что глух и глуп. То есть терпеливо ждал, пока устрица Юна приоткроет створки и выглянет добровольно... Неужели я такая ценная, что меня нельзя вскрывать силой? Настораживающее подозрение.

У ворот «хибарки» Мергеля Яков прищурился с особенной, уже знакомой мне злостью, изучая выбеленную помесь избы и особняка: оруще-алый узор лепнины под крышей, отделанные перламутром петушино-зеленые резные ставни, толстенные колонны по сторонам крыльца.

– Бездна вкуса, – с придыханием сообщил он, почесал в затылке и нехотя убрал шляпу-грибок. – Яну бы тут... пондравилось.

– В доме есть пианино, хапнутое у кого-то за долги. Пылится ненастроенное, – на прощание я выдала налетчику утешительный приз. – Добро пожаловать в рабство, переходящие братья, не знаю сколько вас, но всех зовут на «Я», конечно же.

– С разгрузкой тебе помогут? Точно?

– Разбойная душа, не лезь в святыне.

– Тогда я пошел, дело-то ясное, по тропочке и прямо в ад, – он кивнул и опять не смог отвернуться. – Все ж спасибо, подвезла. Все ж прими совет: не сажай кого ни попадя в шарабан, если ехать – лесом. Все ж переписывай документы злодеев. И главное: въехав в лес, не показывая, что тебе страшно. Уж...

– Рина Паисьевна! – заверещала я как можно пронзительнее. – Муж ваш, добрая душа, нанял вам помощника, и ведь на целую неделю!

Ставни крайнего окна – всего их на фасаде наклеплено два десятка – с хрустом раздалились. Из сумерек поперло на свет белесое тесто: морда, подбородки, плечи... пространство окна оказалось залеплено целиком. Я подобрала вожжи и мельком подумала, что выползки и на самых запоминающихся рисунках не так страшны!

Шарабан поплыл мимо кованого забора с танцующими львами, неотличимыми от облезлых кошек. Я старалась не смотреть на «хибарку», чтобы не наблюдать лишний раз её хозяйку, пробкой застрявшую в окне. Вот же подобралась парочка! Тощий, как горелая елка, Мергель – и эта квашня из квашней. Живут душа в душу: он тащит в дом, она распахивает, трамбуется по углам...

Обычно я подобного о людях не думаю. Мергель – он с чудью, а только есть в нем что-то занятное, и ко мне он относится неплохо. Взять хоть историю с помойкой... то есть с разгромленной по весне оранжереи полузаброшенного особняка Кряжевых. Мергель дал мне охрану и нанял работников, и уж я спасла из холода все, что было можно! Мергель и дом, у которого отнятый за долги, выделил – под временную оранжерею. Хотя все это не бескорыстно, я ж пришла и с порога сообщила, что имеется пион, тот самый. Мечта тараканская...

Нет, Мергель – он не злодеище, он просто человек иного склада, не как я. Он сродни Якову. Но постарше, половчее... хотя куда уж ловчее! Да, определенно: затененный день и разговор с Яковым наслоились. Я невольно примеряю прищур налетчика, и мир вижу искаженным. Голова побаливает. Мысли перешелкиваются вроде косточек счётов в такт копытам Снежка... пока одна не застревает накрепко: иньесская скальная горка! По весне, помнится, Мергель углядел такую в парке Кряжевых. И началось! Камней наташили всевозможные должники. Можжевельник для пригорка выписал местный судья – и он грешен? Ирисы и серебряный мох приволокла на той неделе «матушка» Мергеля, породившая квашню. А я-то свою часть хлопот отложила и забыла! Мне и без Мергеля с его прихотями дел хватало во всякий день! Ох, пора вспомнить и что-то сделать. Пора. Но – не сегодня.

Снежок свернул к поселковому двору имения Дюбо, не дожидаясь указаний бесто-
лочи-возницы. Верно, часть груза можно оставить здесь, люди Кира Силыча вмиг освободят
шарабан. Им любая вещь семьи Дюбо – не чужая, а хозяйская.

Не понимаю таких богатеев, как Дюбо или Кряжевы. Они во многих своих имениях
не оказываются ни разу за всю жизнь! А где бывают, видят от силы сотую часть владений.
О подсобных «дворах», то есть складах, расположенных в поселке, в десяти верстах от имения,
и не знают, пожалуй. Зачем жить сложно и хлопотно, если все насущное помещается в полу-
пустом чемодане? Единственный плед из того чемодана можно отдать незнакомой барышне,
просто так. А возьми я плед в имении Дюбо, один из тысячи, – это назовут воровством...

Пока я молча обсуждала вопросы собственности сама с собой, Снежок добрел до при-
вычного места разгрузки, встал и задремал. Два крепких мужика распахнули воротину и при-
нялись перекидывать груз в сарай. Они уже знали мои тюки и мешки, только иногда уточняли,
какие следует перевезти в имение до заката, а какие можно отправить завтра или на той неделе.
Я указала на то небольшое, что отвезу сама, и побежала через двор.

Зал секретарей – особенное место, которое, полагаю, отличает приказы Дюбо от любых
иных. В зале свой телеграф и даже телефон – хотя в Луговой пока лишь две линии и три десятка
аппаратов. Еще у Дюбо своя служба вестовых. Отношение этой семьи к информации сродни
священному трепету.

– Сводка погоды, отчеты по запросам на цветы и отделку, – было сказано, не успела я
перешагнуть порог.

Выделенный для работы по теме «Первоцвета» секретарь заметил меня еще во дворе.
Как обычно, документы готовы, сложены в кожаную папку, перетянуты лентой.

– Отчеты по расходам прошлой недели.

Я отдала такую же папку и неловко замерла. Каждый раз спина потеет! Воровать не умею,
но попытка отчетом для меня – кошмарнейшая. Так и кажется, ошиблась или истратила сверх
нормы. Хотя есть и худший грех: купить дешевку. Мне дважды высказывали порицание
за выбор товара, который не соответствует статусу дома Дюбо.

Секретарь, вежливый пожилой человек с неприятной привычкой смотреть сквозь людей,
мигом изучил мой отчет. Я размотала ленту, приоткрыла отданную им папку... и поперхнулась,
вчитавшись в погодную сводку. Впереди – пять дней влажной жары! В любой из дней, может
даже завтра, ожидается гроза. Не знаю, кто предсказывает погоду для дома Дюбо. Может,
живки? А только ошибаются они редко. Беда-беда... только жары мне не хватало!

– Я заказал дополнительный лед, – сообщил секретарь, захлопнув папку. – Над двором
сдвинут стеклянную крышу, она изначально, конструкцией здания, предусмотрена для прие-
мов в плохую погоду. Завтра к полудню работы будут закончены, и вы сможете высаживать
цветы. Работников пришлю к этому сроку, за вами отбор годных.

Мне осталось лишь поклониться и удалиться. После общения с вежливым секретарём
на душе гадко, и так – каждый раз. Ему люди – шестеренки большого механизма дома Дюбо.
Себя он мнит причастным к могущественному ордену часовщиков, коим хозяин выдал всякие
там отвертки-масленки и заодно – право тыкать в любой винтик, проверять на пригодность
каждую детальку.

Ташусь нога за ногу. Страдаю. Из-за жары нежнейшие пролески могут увянуть, не рас-
крыв бутоны... Увы, полученный мною отчет гласит: докупить рассаду невозможно. Её больше
нет в оранжереях столицы и пригородов. Нет ни за какие деньги, даже для дома Дюбо.

– Кир Силыч! – как это я, с моим-то зрением, да еще и придавленная грузом сомне-
ний, углядела нужного человека? – Кир Силыч, можно мне оставить шарабан до вечера? Жара
надвигается, мне бы подкопать еловых иголок и...

– Юлиана, душечка, и когда ж вы устанете спрашивать то, что и так явственно? – для
порядка возмутился приказчик, который очень ценил внимание к своей персоне и своему

праву разрешать и запрещать. – Теперь же укажу, и выезд закрепится за вами до конца месяца. Припишу ко второй конюшне имения, да.

– Спасибо! Вы самый добрый человек в Луговой! – от радости я подпрыгнула и бегом помчалась к шарабану, на ходу продолжая восхвалять: – Да что там Луговой! Во всем мире. Спасибо! Ой, спасибочки...

Как же хорошо! Из всех лошадей имения лишь Снежок меня слушается – снисходительно, но охотно. И теперь он – мой, аж до самого конца работ в «Первоцвете»! Я многословно рассказала о своей радости старому коню. Он выслушал, чуть подергивая левым ухом. И как раз успел добраться во двор главной усадьбы. Встал перед большим садовым сараем – и задремал. А я наоборот, засуетилась: побежала к себе в комнату, в пять минут переоделась, помчалась в малый сарай у теплиц, нагребла ворох мешков и отнесла в шарабан. В главном сарае выбрала грабельки, тяпки, накидала полную корзину всякого-разного инструмента, полезного и не очень, зато тяжелого – и очень. Уф. Кое-как доволокла корзину, натужно подняла и перевалила в кузов шарабана. Улыбнулась, растирая спину: везет мне! Больше не надо выпрашивать выезд каждый раз. Если честно, еловые иголки нужны для заказа Мергеля. Для дела Дюбо тоже, но не срочно, и еще – по делам Дюбо мне помогут. Но для Мергеля... ох, не умею я ловчить. Сложности на ровном месте выдумываю. Не ворую ведь я иголки! И время сегодня есть, и вообще...

Снежок сонно вздохнул, покосился на меня, встряхнулся и побрел, куда и следует, при этом ловко игнорируя мои попытки дергать вожжи. Он умный старичок, все дорожки знает и не обижает барышень-неумех... сразу понял, что нам надо к лесу. Шагает полевой дорожкой, иногда забредая на обочину, чтобы ущипнуть верхушку сочной кочки. А я сижу, запрокинув голову, и гляжу в небо.

Не по душе мне прихоть богатея, возжелавшего ранней весны в неурочный час. Время сродни поезду. У него расписание, и людям полагается не опаздывать, не роптать. Сейчас поезд мчится на станцию «Лето», об этом свистят все птицы мира! Небо безумно синее. По весне цвет таким густым не бывает, в оттепели хорош голубой, он холодный и ясный, – я задумалась, отчего-то облизываясь, – взять хоть облака: нынешние вроде сметаны. А зимние – сливочное масло, а в жару по небу разливается парное молоко со взбитыми сливками! Вечерами солнечная клубничина так сладко окунается в чашу горизонта... Нет, не надо о еде.

– Почтовнику собрала завтрак, а себе-то, – вздохнула я. – Даже Яков расслышал, как бурчал мой живот. Злодей-злодей, а накормил. «Не сажай в шарабан чужаков!». Ха. Да кого ни посади, все чужаки.

От сказанного должно было стать грустно, но – обошлось. И Яков тот еще чудака, и жара заспешила после затяжных холодов, и день затененный... Но впервые с осени небо густо заткано паутиной крылатых промельков: ласточки журчат и щелкают, приманивают жару, обещают согреть весь мир и заодно мою душу.

Интересно, смурная тень улеглась – или это я отвлеклась, потому что двигаюсь и радуюсь? Обычно я переживаю смурные дни, затаившись. Но сегодня я не прячусь. Хотя на душе слегка тревожно, а мысли мелькают мошками. Зудят... Вот хоть эта: если есть тень инакости, то должно найтись облако, отбрасывающее её. Прежде оно оставалось незамеченным, ведь я не решалась осмотреться. Но сегодня мы движемся дружно: Снежок шагает к лесу, шарабан катится за ним, я сижу внутри, смурное облако плывет по-над нами... У развилки полевых дорожек холод лизнул шею. Я вздрогнула, подхватила вожжи и выбрала правую дорожку, следуя совету инакости. Сегодня – могу. Весна. Солнечно. Простор вокруг – головокружительный и светлый.

Близ Луговой расположен пояс неподделанных просторов. Богатеи не желают соседствовать, сельские покосы для них вроде нейтральной территории. Думаю, и сами поля засеваются не ради урожая, а для красоты. Сейчас шарабан пересекает обширное пространство, расстелен-

ное от усадеб близ Луговой до сосняка на гривке, и всё оно – пологий, почти не видать уклона, бок большущего холма. Само село находится на середине холма-великана, а Снежок ленивой мошкой ползет к верхней его трети. В подбрюшьях села – опять же неподеленные земли. Выпасы, именуемые «зеленями». Туда мы не поедem, слишком сырое место. Хвою и торф по весне там не берут.

Снежок вздохнул и остановился на новой развилке: мы вплотную подобрались к лесистому гребню. Вдоль опушки вьется тропка, заросшая травой, но вполне удобная для конных повозок. Сосняк по каменной гривке – строевой, опушка украшена кружевом можжевельников, в складках кучкуется ельник, воды не хватает, и он чахловат. Я мягко потянула правую вожжу.

За месяц работы на Дюбо я изучила окрестности, выведала места, удобные для добычи хвойных игл. Рядом как раз такое, и дорога к нему накатана. Правда, не из-за иголок: именно отсюда опытные печники берут глину для печей и каминов.

Вот и добрались. Встаю с лавки, осматриваю опушку. Близ глиняного раскопа – ни души: то ли у печников нет заказов, то ли все они запасливые. Хорошо, смогу по краю свежих ям пробраться к месту, которое давно присмотрела. Там слой иголок толстенный.

– Не налегай на хвою, – посоветовала я Снежку, вынимая удила. – Я спрашивала у Кир Силыча, коням иголки не вредны, особенно по весне. Но ты уж не переедай. Вон и одуванчики не вредны, если понемногу. И даже полынь, если одну веточку пожевать и сплюнуть, ясно?

Снежок презрительно фыркнул. Прав, я в лошадиных кормах не знаю толка. С упряжью кое-как разобралась, и то, если не спешу и не волнуюсь. Главное – хвоща поблизости нет. Ландышей, о которых Силыч предупреждал особо, тоже не видать.

– Ну, жуй, только шарабан не загоняй глубоко в кусты, – попросила я.

Снежок отвернулся и даже не фыркнул в ответ. Я пожала плечами, сунула под локоть ворох мешков. Вцепилась в корзину с тяпками-совками... и не смогла поднять! Выбросила все лишнее, от жадности взятое – у меня ведь шарабан, свой! Подняла опустевшую корзину и понесла, шурясь и прикидывая: откуда начать работу?

Печники усерднее собак, обученных для норной охоты. Роют и роют глину, год за годом. Создали пещеру, из-за которой местные зовут косогор «подкопом». Толстенные сосновые корни обрамляют верхний свод на высоте в три моих роста. Внутри подкопа можно уместить шарабан с запряженным конем – вот как он велик. Правее и левее глиняной «жилы» морщатся складки холма, и все они – вроде ловушек, доверху набиты отборной сухой хвоей. Надо лишь раскрыть мешок пошире – и грести... Дело само делается, вот так!

Первый мешок я нагребла именно так, и запросто доволокла до шарабана. Второй оказался вдвое тяжелее. Третий... На полупустой третий я сползла, шмыгая носом. Больно спине, ногам, рукам. Слезы текут, хотя жалеть себя бесполезно, дело не исполнится, боль не пройдет. Но я сижу и всхлипываю. Гляжу на руки. Опять мозоли намокнут. И пчелиная мазь кончилась... Яков прав, я городская. К ночи доберусь до своей комнатки, плотно прикрою дверь, задерну шторы – и стану ругать себя. Зачем согласилась на посулы управляющего Дюбо? Сто рублей в месяц! Безумные деньжищи. И это – он намекал недвусмысленно – без учета благодарственных, которые выдаются в последний день по усмотрению хозяина и могут превышать весь заработок.

Долго плакать я не стала. День смурной, но тень сегодня вроде солнечного зонтика – полезная и прозрачная. Сейчас вытру пот, постучу кулаками по лодыжке, прогоню судорогу. И потащу мешок. Уже встала. Громко пожаловалась миру на свою жадность. В сарае при оранжерее были малые и средние мешки, зачем я схватила эти, самые большие?

Кряхтя, я перетянула дерюжную горловину узлом...

Сухой хруст прорезал суету весны, и она повисла лохмотьями оборванных птичьих трелей, задрожала испуганной, внезапной тишиной. Руки мои вмиг ослабли, мешок дернулся и замер.

Сперва я заверила себя: хрустнула ткань. Я старалась так думать, спасаясь от страха. Хотя чего бояться-то? Белый день, Снежок ухом не ведет, птицы помолчали и снова загомонили.

Глубоко в душе я знала: мешок цел. Хруст был – особенный. И тишина: она разверзлась ледяной полыней посреди солнечного дня. Я учуяла миг, когда вскрылся омут зимы! На мою спину иней лег, вот как все серьезно! Омут сразу затянулся, но мои пальцы по-прежнему ледяные. Дрожат... Я тру ладони и упрямо гляжу на них, только на них, лишь бы не смотреть по сторонам. Пытаюсь заверить себя: не увижу ничего странного. День как день. Подумаешь, птичья стая, слова Мергеля, вопросы Якова...

– Ну ты и трусиха, хорошо хоть Яков не видит, – зашептала я, не слыша свой голос. Пульс грохотал в ушах. – Полыня, хруст, иней... Вот дуреха! Просто дерево какое-то. Старая ветка. Или Снежок дернул куст и там... что-то.

Давно проверено: излагая вслух идеи, пусть самые глупые, я паникую чуть меньше. Руки перестали дрожать... почти. Могу разогнуться. От страха спина стала ледяная, зато пропал спазм лодыжки. Унялась ломота в пояснице. Все, решено: выпрямлюсь и сделаю вид, что мне не страшно. Если усердно делать вид, начинаешь верить. Мне надо поверить. Паниковать на пустой опушке – бесполезно. Ну правда, что могло приключиться? Луговая – самое безопасное место в стране. Жандармов, осведомителей, прочих глазастых и пронырливых людей сюда летом слетается больше, чем оводов. Снуют и снуют...

Я глубоко вздохнула и начала поднимать голову.

Шея дернулась и закаменела! Её заклинило, когда я краем глаза отметила движение. Резкое, близкое. И снова – звук. Нет, не хруст. Что-то скреблось.

Длинный плавный выдох. Чтобы переупрямить трусливую шею, стоит зажмуриться. На ощупь повернуться всем телом, и еще... Вот: теперь лицо нацелено в сторону звука. Осталось открыть глаза! Быстро, чтобы не передумать. И – раз!

Отчего-то я внятно, сразу, рассмотрела меж камней белую руку. А после, пока задыхалась и икала, взгляд сам по себе старался – сгребал ворох подробностей. Я не могла зажмуриться. Меня заклинило, словно подробности были иглы, а я – мешок для них. Подробности набивались в сознание и кололи его, и жалили...

Рука! Она длинная, с синюшной кожей, и еще она скребется. Вызмеилась, зараза, из-за больших и малых камней – печники откатали в сторонку, сложили горкой. Рука появилась из глины за камнями, протиснулась меж крупных валунов и царапает их... своими когтями.

Когти! Не могу дышать, только поэтому не ору. Молча сиңею. Смешно ли это смотрится со стороны? Страшно – но и смешно тоже. Смех вроде щекотки, помогает очнуться. Прогоняет онемение. Икаю, хихикаю и слышу свой кашель, ничуть не похожий на смех.

Трещина змеится от верха подкопа и до низа! Ай да я, самое крупное рассмотрела лишь теперь. Точно: когда омут зимы с хрустом раскрылся в наш мир, возникла трещина. Омут сгинул, звук иссяк, а вот след остался... Здоровенный след, совсем настоящий, не то что мои придуманные «облака», «тени», «инакости».

Щель в слоистой глине косогора веретенообразная, у основания и вверху узкая, посредине просторная: колодезное кольцо уместится в распор. Нет, я перебираю от страха. Малый чугунный люк водостока – и то впритык. Основание трещины скрыто за камнями, в ее верхний край крепко вцепились сосновые корни. Скрипят и жалуются, но уже понятно, им хватило сил спасти подкоп от обрушения.

В прошлом году тут чуть не засыпало беспечного печника. Смешно звучит... Беспечный-печник. Мне легче дышать от того, что я знаю: печник выжил. Дело было под осень, погода стояла сырая, и глина поползла пластами. Несколько сосен упало, их пилили... Сейчас полезны

подробности. Припоминаю их, пытаюсь дышать ровнее. Я бы убежала без оглядки, но вот беда: я в этом подкопе, как... вкопанная! Тень – та самая, которая делает дни смурными – держит меня. Тень свита из страхов, крепко скручена в канат внимания и натянулась от меня – и до жуткой руки. Нет: от моих глаз – к глазам... к его глазам. Значит, придется собраться с силами и решиться на прямой взгляд.

Бледная рука вцепилась в камень, когти нащупали трещину и заклинились в ней. Рывок! Хруст... Сосны заскрипели, но щель в склоне не стала шире.

Ох уж эта рука. Сине-белая кожа, сталистые когти вместо ногтей. Второй раз в жизни вижу такую. Теперь знаю: детский кошмар помнится мне точно, ни одной в нем ошибочной мелочи. Рука выползка – упрямая, она настойчиво вытягивает из небытия все его тело. Вот поднимается сизый шар черепа. Вижу затылок – слизисто-глянцевый, без единого волоска. Теперь заметны и плечи. Шкура исцарапанная, сплошные ссадины и синяки.

Лысая башка дергается, желая запрокинуть лицо и не справляясь: вижу, как дрожит шея. Хотя это мощная шея, не чета моей... и она снова дергается, и еще раз...

Тошнота подкатилась к горлу. Не дышу, не могу отвернуться. Смотрю...

Лицо выползка – сухое, словно кожу натянули с другой головы, половинного размера. Провалы щек черные. Провалы глаз и того чернее. И – о ужас – тот самый взгляд! Безнадёжно усталый, безмерно грустный.

Взгляд выползка проткнул меня... и пришло облегчение, словно я – нарыв, а мой страх – гной. Страх утёк, я очнулась, со всхлипом втянула воздух.

– З-здра! – я то ли икнула, то ли кашлянула. Слова поперли вроде рвоты, рада бы унять, а не могу. – В-вы... Вы поч... му сей-сей... час? Нет дож... Дя. Нет гроз-зы. Сушь!

Я подавилась, сникла на колени.

Выползок с усилием выдрал себя из сухой глины по плечи, а может, и по пояс. Рычать, скалиться и кровожадно облизываться он не пробовал. Хотя должен был, если верить храму, газетам и детским страшилкам. Снежок тоже вел себя, как тупейшая из лошадей мира. Ему полагалось захрипеть, встать на дыбы и умчаться. Или хотя бы упасть и околеть в корчах. А он, зараза – я так разозлилась, что смогла крутнуть шеей – жрет лопух и ухом не ведет!

– Что ж де... делать? – жалобно спросила я у коня. Зажмурилась и повернула голову, и открыла глаза, чтобы снова встретить взгляд выползка. – Эй! Ты! Эй... Знаешь, как мне худо? – слова выговаривались все легче и внятнее. – Так дрожу, аж кожа чешется. Отпусти, я убегу и никому про тебя не расскажу. Ладно?

Сине-белая морда в ссадинах и потеках крови принюхалась. Моргнула. Сглотнула. Раскрыла пасть... то есть рот. Между прочим, клыков нет. Если б я могла видеть так ясно, как Яков, раньше рассмотрела бы: зубы как зубы.

– Рядом живка, – шепоток выползка стлался над травой, как поземка. У меня от звука вмиг замерзла спина. – Она приведет охоту. Тебя убьют. Беги.

– А тебя?

– Меня убивали тридцать восемь раз, привык, – говорливый чужак рывком подался в наш мир из... не знаю, откуда. Издалека. На сей раз он справился. День сделался обычным, ощущаемая мне затененность растаяла. Нет: оборвалась резко, в один миг. Словно дверь во тьму захлопнулась.

Солнышко сделалось жарче, рыжее. В мире добавилось цвета, в птичьих трелях – сочности. Ветерок сладкий, зеленый от пылицы... В такой день нельзя замерзать. Я вздохнула, расслабила плечи. Приняла всем сознанием очевидное: рядом выползок. Весь тут, в нашем мире. Я вижу его голову, плечи и часть спины. И еще лицо – обычное человеческое, только совсем изможденное. Кстати, слизь с кожи пропала. Стало легче рассматривать его: не противно. Сразу заметилось, что выползок по виду не юноша, но и не старик. Я бы дала ему лет сорок.

Разрез глаз, скулы... он похож на местного. Лицо сухое, длинноватое. Такие называют породистыми. Ну, если откормить, отмыть и обеспечить прической.

– Эй, выглядишь так, будто тебе вовсе паршиво.

– Уходи. В деле жива. Значит, большая охота, – он расставил локти и устроился, положив подбородок на сплетенные пальцы. Помолчал, отдыхая. Снова заговорил: – Опытная жива. Нет дождя, но я пробирался, словно меня позвала гроза. Совсем обессилел. Порвал кожу, потерял много крови. У них собаки. Наверняка. А я голый и приметный.

– Да уж, – от понимания того, с кем говорю, снова сделалось жутко. Но я проглотила вредную мысль вместе с комком слюнявого страха. – Да. Да уж... Да-а.

– Ты странная. Таких еще не видел, – выползок говорил все более бегло, в речи проявлялись интонации. – Люди убивают или убегают. Не пробуют разговаривать. Уходи.

– Зачем на тебя охотятся? – вопрос выговорился запросто. Я что, меньше боюсь?

– Рабство, ритуал, эликсир или что-то еще, мне пока незнакомое. Эксперимент? – он попытался продвинуться выше на камни, не справился и сник. Огляделся, морщась и напрягая шею. – Так. Язык и диалект понятны. Климат, рельеф... Знакомы. До Трежалья отсюда рукой подать. Было бы удобно, могли я спастись.

– Луговая там, – я неопределенно махнула рукой.

– Знаю. Укажи год, – деловито предложил выползок.

– Двадцать пятый. То есть...

– Одежда мало изменилась, век уточнять не надо, – он усмехнулся очень по-человечьи, досадливо. – И зачем спросил? На сей раз мне лучше умереть. Рабом я был. Больше не дамся... им.

– Ищут по следу и запаху? Или живы всюду чувствуют вас, как и заверяет храм?

– Уже не чувствуют. У нас нет особых примет, когда нора закрывается. Вот разве одержимые... но таких я бы сам учуял. Их нет поблизости. Уже хорошо. Они умеют унюхать свежую кровь. Опаснее псов.

– А когти? Порви злодеев, – подсказала я. Видимо, Яков на меня дурно повлиял, и я стала кровожадной.

Выползок закашлялся. Вытянул руку, перевернул ладонью вверх и снова уронил на камни. Когтей – нет! Я прищурилась, не веря зрению. Шагнула ближе, недоумевая: когтей почти нет! Самую малость их еще видно, ведь я угадываю свое же сознание, и оно старается, дорисовывает. Взгляд ловит блеск, придумывает тень... рука выползка снова шевельнулась. Когтей совсем не стало.

– Ты зачем влез сюда? Ну, в целом, в мир, – шалея от своего любопытства, не унялась я. – Если вдруг... если вдруг не кровожадный. Ты.

– А ты зачем влезла в жизнь? Все вы, – выползок поморщился. – Как будто на такой вопрос есть ответ. Если б знал его, смог бы многое... изменить.

– Ладно. Ты точно не кровожадный?

– Честное слово, – он фыркнул и на миг растянул рот в подобие улыбки. Нижняя губа треснула... совсем сухая кожа. – Веришь?

– Верю. Сегодня день такой. Невесть кому верю. Не выпалась, вот и верю невесте во что. С утра. Да-а...

Продолжая бормотать и вздыхать, я огляделась, на четвереньках отползла, перебрала заготовленные под хвою мешки и выбрала самый новый. Скомкала потуже, толкнула в сторону выползка. Ком не полетел и не покатился. Так – немножко сместился и растопырился грубой тканью во все стороны. Кидать я не умею, даже когда руки не дрожат и голова работает. Но выползок дотянулся, вцепился в мешок. Растряхнул, в два движения проделал дыры для рук и головы. Рубаха из дерюги так себе. Но в ней уютнее, чем голышом. То есть ему – не знаю, а вот мне – точно!

– Тебе холодно? Эээ...

Я почти собралась вежливо перейти обратно на «вы», но одумалась. Люблю все усложнять, но ведь не время! Задумаюсь, запутаюсь – и не смогу общаться.

– Нет. Чувствительность кожи пробудится к ночи, не раньше. Запахи стану понимать через час-два. Цветность зрения уже проявляется. Ты права. Странный день. Болтаю без умолку, и вдобавок о том, о чем не следует. Ты точно не жива?

– Смешно звучит. Я живая. Ха: я-жива-я... И хочу такой остаться.

– Смешно звучит, верно. Дай еще мешок. Нож есть? Намотаю портянки, что ли. Хотя... все равно собаки найдут след. Крови много, шкура здорово полопалась.

– Кожа, – поправила я.

Он опять фыркнул. Кряхтя, сел на камень. Проследил, как я дрожащими руками перебираю тяпки в корзинке. Вцепляюсь двумя руками в тупой нож... и ни туда – ни сюда. Ну какой надо быть дурой, чтобы вручить выползку оружие! Значит, я сегодня полная дура. Пихнула и протяжно выдохнула это самое – «ду-ура»...

– Пить хочу, очень, – выползок наметил надрезы, рванул дерюгу. – Не просил бы, будь ты умной. Ты точно не из охоты. Если б отвлекала, они бы уже подошли. Остальные.

Я доковыляла до шарабана и нащупала флягу. Поволокла за кончик ремня. Раскачала – и он поймал. Не пришлось вплотную подходить и передавать из рук в руки.

– Меня зовут Юна, а тебя Яков, вот, – сообщила я очень решительно. – Именно Яков! Не могу запомнить еще одно имя. Хватит на сегодня событий и имен. Аж тошнит. Я не ору, хотя мне плохо. А поорала бы... стало б еще хуже. Нет, вряд ли. Куда хуже-то?

– Значит, Яков. Годится, – он напился, голос стал звучным и внятным. – Есть важный для меня вопрос. Ты видела птиц? Ненормально большую стаю разных пород. Вроде водоворота в небе, широкого и многослойного.

– Да.

– Где именно?

Я задумалась. Стаю я видела с другого места, из леса по ту, нижнюю, сторону от Луговой, а еще от подворья, с главной улицы. Указать отсюда и теперь, имея не голову, а чугунок с кипящей кашей недоумения... Рука неуверенно ткнула в небо. Поправилась и снова ткнула. И еще. Бедное истыканное небо. Мне его жаль.

– Умею заблудиться, но никак не наоборот, – виновато сообщила я.

– Ты указала в сторону, а не прямо над головой. Это главное. Значит, что-то у них не сла-
дилось. Ищут по ручьям, где я мог бы спрятать след от собак. Почему охота не нашла меня? Что-то должно было вмешаться, но что?

Яков деловито осмотрел поле, дорогу, опушку. Поморщился и подпер подборок кулаком. Глянул на меня грустно, раздумчиво.

– Вроде бы привык. Но умирать в тридцать девятый раз, если я верно считаю, все равно противно. Я ведь почти справился. Хм... я жалуюсь? Забытое занятие. Интересное.

– Могу отвезти отсюда... недалеко. – Ляпнула я, ненавидя себя. Ведь никто не тянул за язык! Молчала бы и молчала. За умную бы... хотя нет, поздно.

– Ничего себе предложение, – лысый Яков прищурился деловито, почти как лохматый Яков, утренний. – Оговорим сумму?

– Пять рублей. Больше не дам. Нет у меня больше! Вот, весь кошелек.

Он согнулся и хрипло закашлялся. Я решила было, что его вот-вот вырвет. Но это был смех. Отпустило Якова быстро. Он рывком встал. Только теперь я смогла заметить, что он обмотал ноги мешковиной. Когда успел? Я упустила. Хотя, если я годна на что-то в смысле наблюдения, то – ворон считать. Только что до меня докатилось понимание: Яков сперва решил, будто я прошу денег, а вовсе не намереваюсь дать их.

Я почти собралась уточнить, откуда у выползков деньги, если сами они нездешние, и мой мир им чужой... Но спросить не удалось. Мысли мотало в голове, как помой в ведре.

– Сядь на переднюю скамью, отдыхай от впечатлений, – посоветовал Яков. – Ты хорошо держишься. Ровно дыши и слушай. Если нас все же поймают, ты молчи. Долго молчи. После ори в голос, как недавно собиралась. Ори и беги, отбивайся и опять ори. Когда отпоят водичкой, станут спрашивать, как ты очутилась в одной телеге с выползком. А ты тверди, что ничего не помнишь. Не знаю, как правильно называется мой способ попасть в мир. Сам я назвал его норой, и я... сперва выныриваю, а затем продираюсь сюда. Люди, оказавшись возле открытой норы, ведут себя странно. Это знают и в храме, и в сыске. Тебе поверят, если будешь упорно твердить о потере памяти и страхе. Очень часто в таких случаях люди говорят «помрачение». Запомни, годное слово. Поняла?

Я уже сидела на скамье. Голова удобно двигалась вверх-вниз. Подборок упирался в ключицы и снова вздергивался. Взгляд то упирался в оглоблю, то взлетал в облака. Аж до тошноты. Но постепенно отупение рассосалось. Я перестала кивать и заметила, что выползок не умнее меня. Пока я боролась с тошнотой, он нагреб до верху иголок во все пустые мешки. Как рез теперь уложил в шарабан последний. Тяпки-совки аккуратно прибрал в корзину. Неймется ему отблагодарить меня, пусть и без денег. Смешно, аж икаю: совестливый выползок Яков работал за меня, а бессовестный налетчик Яков задаром накормил. И оба грузили мешки. Может, все дело в шарабане? Он – заколдованный! Хорошее объяснение, в должной мере идиотическое... Все, икота прошла, я успокоилась. Лысый Яков стал совсем похож на человека. Суетится по людски, дельно и проворно. Проверил удила у Снежка. Забрался в шарабан, помял вожжи.

– Как природу ни обманывай, она возьмет свое, и с лихвой. Думаю, самое большее час нам ехать посуху, – Яков поглядел на солнышко так прямо, что я захотела посоветовать ему беречь глаза. – Тебя дома не хватятся? По рукам судя, ты городская. По манере речи, еще и образованная. Но тяпки, мешки... конь. Сплошные нестыковки.

– Дома? Ха, меня уже три года как нигде не хватятся. – Отчего-то жаловаться лысому чужаку оказалось легко! Утреннему Якову не сказала бы ни за что, а этому пожалуйста, и даже с продолжением: – Да они от радости спляшут, если я сгину! Живы-живехоньки, не хмурься. Только я не родня, я – помеха. Дочь первой жены. Она убежала из дома и бросила меня совсем крохой. А вторая жена отчима... В общем, если коротко, меня отправили подальше, аж за пять сотен верст. Мамин дом продали, соседям сказали, что деньги пойдут мне на учебу. Но как я доучивалась, на что живу – вот разве ты спросишь. Ха, я человеческий выползок, сзади нора, впереди неизвестность. Моя жизнь – сплошной страх. Я боюсь перемен. Все больше боюсь, потому что поняла, мир изменчив. А раньше думала, он надежный. Яков, очень страшно лезть в неведомый мир? Ну, через нору.

– Трудно. Когда делаешь что-то непосильное, на страх не тратишься. Но охота и те, кто её устроил... они страшные. Тебе лучше не знать о них. Итак, скоро дождь. Если продержимся час, след будет смыт, худшего не случится для нас обоих. Куда б податься? Мало сведений, ошибки неизбежны. Совсем не могу понять, отчего ищут так бестолково? Ты видела незнакомых людей? Заставы, конных с собаками, хотя бы чужаков, слоняющихся без дела?

– Нет. Но местный городской знает про охоту. А стая птиц была у путей, над нижним лесом по ту сторону от села.

– Получается, они начали, как обычно, от большой воды, то есть на этой местности – от низинных заливных лугов, – забормотал Яков, прикрыв глаза. – И не продвинулись вверх. Ищут в лесу, смещаются к болотам? Хм... странно. Что-то сильное сбilo настройку. Мне известны три возможные причины. Две не проверить, а третья, – Яков повернул голову и остро глянул на меня. – Ты уже видела выползка прежде.

– Да. Давно.

– Его убили? Не отвечай, и так понятно. Тебе стало холодно, да? И сегодня было похожее ощущение. – Яков промассировал затылок, продолжая глядеть на меня. И как! Словно я – невидаль похлеще выползка. – Юна, прими совет и не спрашивай, в чем его смысл. Не жалуйся при посторонних, что тебе холодно в жару. Никому не рассказывай, что однажды при тебе убили выползка. Не имей дел с живками, никогда. Холод, жалобы на прошлое, живки: любое их этих обстоятельств может дать кое-кому достаточно оснований для подозрений. Не скажу, в чем. Лучше тебе не знать.

Я молча кивнула. Сегодня Яковы грузят мешки и учат жизни. А я нахожу для их поведения нелепые объяснения. Думать о сложном я не готова. Иначе вцеплюсь в выползка и возьмусь у него спрашивать про инакость, тени и плохие дни. Он ведь знает! Точно знает... Но намекает, что мне самой безопаснее не знать.

– От верхних лугов и до самого села сплошное поле, – сообщила я, чтобы не молчать, и повела рукой, показывая. – Ниже огороды, там много пугал, можно разжиться шляпой и штанами, если дожждаться ночи. Еще ниже в зеленях конюшни военных, кое-кто уже прибыл. Неразбериха сплошная, и так будет недели две. Хотя и среди лета их грабить без толку, сами во хмелю от одежды избавляются и лезут охолонуть в лебединые пруды. Возле нижних прудов наемные прачки каждый день заняты стиркой, и им велено на ночь кое-что из вещей оставлять. Ну – для пьяных... Во-он там склады, охрана и совсем нет посторонних. О! Могу сказать, куда тебе нельзя. Имение Дюбо, – я внятно указала направление, хоть это могу. – Сплошной порядок, соглядатаи на каждом шагу. Туда тоже нельзя: Мергель в засаде. У него нюх на чужаков лучше, чем у собак... Да уж, мне сегодня везет на попутчиков. Мог бы ткнуть по затылку и забрать шарабан насовсем.

– Идея с военными недурна, – Яков шевельнул вожжами. – И ехать полем удобно, все просматривается. Вот только дождь. Промокнешь.

– Ну и ладно.

Яков натянул вожжи, спрыгнул и метнулся к опушке. Он двигался быстро и гибко. От прежнего изможденного существа отличался все заметнее с каждым мгновением. Кожа, и та стала иной: не синюшная, просто бледноватая. Сгинул в мелколесье... только по волнению веток и можно отследить. Возвращается. Лапника набрал такую охапку, что самого не видеть. Снова метнулся, вернулся еще быстрее.

– Зонттик, – заверил он, сгрузив колючие ветки и палки орешника. – Хотя скорее шалаш. Все, поехали. Ласточки давно прилетели?

– Сегодня. То есть сегодня я рассмотрела и слышала. Я ненадежный свидетель. И зрение так себе, и вообще мало замечаю то, что очевидно иным.

– Грозы уже были по весне?

– Нет.

– Опасно ехать через поле, зная, что скоро гроза. Не сомневаюсь, именно гроза!

– Там лощинка, – я неловко махнула, рассекая поле пополам. – Думаю, никто умный искать в ней не станет. Они знают про грозу?

– Еще бы. Отдай обещанные пять рублей. – Он выхватил кошелек жадно, сразу привязал к верёвке-поясу и уточнил вроде бы нехотя: – Не жди, что верну с добавочкой. Лучше нам не встречаться впредь. Тебе же спокойнее.

И замолчал. Кажется, он как раз теперь полностью прижился в мире и осознал, что болтать со мной бесполезно. Ну и пусть. С лысым Яковым молчалось легко. Мы сидели на скамейке рядом, но оставались такими же далекими, как звезды в небе. Совсем никаких обязательств. Если б пообещал вернуть пять рублей, дело другое. Если б принялся корчить деревенщину, дурашливо благодарить или рассказывать о себе, о выползках вообще... Я вздохнула протяжно. Утренний Яков, похоже, зацепил меня. Не обидел, а именно оцарапал. Не просто так я надела его имя на чужака.

– Совесть можно продать, но нельзя купить, – я вдруг решила опробовать на лысом Якове свои недавние умствования.

– Ну не за пять же рублей, – он покосился на меня с подозрением.

– Я в общем. Вспомнила, что утром уже рассказывала одному Якову, как вредны деньги, ставшие высшей ценностью мира.

– Что, утром у тебя было десять рублей? – Выползок нахмурился. – Пятнадцать?

– Утром обошлось. Он даже накормил меня. Просто так.

– Сколько тебе лет, безнадежный ребенок?

– Девятнадцать.

– Н-да, умнеть поздно, – выползок ссутулился. – Зачем думаю об этом? Пойдет дождь, я сгину. Только так. А по поводу денег не переживай, тебе вовек не накопить столько, чтобы стало опасно с ними обращаться. К тому же деньги вроде магнита. Одних тянут, других отталкивают. Еще имеется особенная порода людей, к золоту вполне безразличная и тем ему... что-то я разговорился. Н-да... Проще жить ты не сможешь, а это боль. Вот тебе волшебное средство: устанешь от мыслей, гляди в небо. Или боль ослабнет, или отвлечешься. Небо прекрасно. Тридцать восемь раз меня убивали, но я успевал увидеть небо и уже поэтому ни о чем не жалел.

Мы помолчали, каждый о своем. У меня мерзла спина. Проклятущее воображение! Умирать, глядя ввысь и улыбаясь. Еще немного, и я начну всхлипывать. А пока запрокидываю голову и гляжу в небо. Помогает, мысли из головы вытряхиваются, словно сор. Предгрозовое небо – магнит, оно тянет взгляд, и кажется – падаешь в него... до головокружения.

– Твое драгоценное небо заплывает синевой, будто солнцу глаз подбили. Невероятно! Я приехала сюда при тишайшей ясной погоде. Думала про летние облака легче пуха, и на тебе, все небо – сплошной свинец!

Яков безмятежно пожал плечами. Я нахохлилась, прикусила губу. Уже понятно, скоро нас накроет не гроза – грозища! Ну, одно неплохо, я не ошиблась насчет лощинки, её уже видно, Снежок споро топает под уклон.

– Повалю коня, укутаю морду. Прележит как дохлый до конца грозы. Тебе построю шалашик. – Яков помолчал и добавил: – Молний очень боишься?

– Мы уже посреди поля. Зачем спрашивать? Хочешь услышать звонкое д-д-да?

Я постучала зубами и шмыгнула носом. Сама не знаю, в шутку или всерьез.

– Одной тебе придется бояться, вот что досадно. Дешевая у меня совесть, ты права. Пять рублей...

Он резковато рассмеялся. Щёлкнул языком, приглашая Снежка перейти на рысь. Шарбан стало раскачивать, я вцепилась в лавку и молча переживала за Снежка. Туча наливалась тяжестью, готовая расплющить мир под собою. Точно знаю, я сравниваю её с синяком из-за утреннего Якова. Он злодей, но сейчас был бы кстати. Он вряд ли боится громов и молний. Болтал бы без умолку, нес такую чушь – заслушаешься. Я бы злилась и дулась. Благодать.

Чем гуще мрачнело небо, тем ниже к траве оно давило паутину ласточкиных промельков. Воздух густел, делался вязким. Мошкара билась, словно в клейкой ловушке. Ветер то смолкал намертво, то хлестал во всю силу. Пихал за шиворот травинки, норовил запорошить глаза. Вздблывал вьюны, которые, правда, не дорастали до туч и смерчами не делались. Про смерчи я только в книжках читала. Это южная, степная напасть.

Первые тяжелые капли простучали по скамейке. Одна звучно хлопнула меня по лбу. Огромная! Пока я отплевывалась и терла глаза, Яков распряг Снежка, ловко подсек и повалил. Повозился, удерживая голову и невнятно бормоча, пока конь не затих. Укутал морду мешковиной, спутал ноги. Миглом вогнал в землю несколько ореховых прутьев, набросал лапник, увязал дерюжными полосками. Засунул меня в колючие недра хвойного убежища. Напоследок ободряюще щёлкнул по носу.

– Место безопасное. Ничего плохого с тобой не случится в эту грозу. До ночи далеко, еще успеешь налюбоваться радугой, – пообещал он. Улыбнулся и добавил: – Спасибо, что ты человек. Мне, кажется, ни разу не везло настолько, чтобы первым в мире попался человек, а не зверье всякое... двуногое. Прощай.

– Прощай, – выдавила я, удивляясь своим же внезапным слезам. – Ты уж смоги сбежать от всех, Колобок. И гордо черствей неукушенным.

Он отмахнулся от глупостей, резко отвернулся. Побежал прочь и ни разу не оглянулся. Неужели ему не страшно? Мне вот за него – до колик в животе... Один в чужом мире, где на него охотятся. Кроме меня, его тут вообще никто не знает. От меня пользы нет и уже не будет. Даже стыдно лежать и бояться какой-то там грозы. Я – человек, у меня есть документы, имя, ключ от комнаты, работа, сбережения, знакомые... надо же, еще утром я не догадывалась, насколько беззаботна и благополучна моя жизнь.

Молния отпечаталась на дне глаз – ослепительно синяя, лохматая. Я сморгнула. В темноте зарокотал близкий, жуткий гром! Нашпиговал тело электрическим страхом. Зрение вернулось: щекотка капель дрожала на иглах лапника, то серая, то радужно-искристая. Молнии били часто, мир то гас, то вспыхивал празднично-ярко...

Близкий гром выдолбил череп изнутри! Вытряхнул оттуда крошево мыслей. Одна чудом уцелела. Она – радость: дождь лупит проливной, значит, лысый Яков уйдет от охоты. Он толковый колобок. Ловкий и расчетливый.

Снова молния! Ветер несет водную пыль, такую мелкую, что она насквозь пронизывает шалаш. Спине холодно. Разеваю рот – и ору! Гром меня глушит, а я его – ответно. Не знаю, страшно мне или весело. Разучилась думать. Надо же, как кстати...

Ночью мне снилась радуга: искристо-ледяная, многослойная. Я смотрела на её красоту с замиранием сердца... и стуком зубным. Нет, я не промокла, выползок построил шалаш, как заправский инженер. Но водяная пыль, а того пуще – туман. После грозы я глазела на радугу – в три дуги! Вяло запрягала Снежка. Копуха... не заметила, как сумерки подкрались и загустели.

Черным беззвездным вечером шарабан долго-долго плыл через поле, утопая в тумане. Снежок не желал переходить в рысь, он старенький и подслеповатый. Хорошо хоть, конюхи в имении не спали. А вот кухня дрыхла: горячей воды не нашлось даже на малую грелку, и ночь сделалось ледяной уже от осознания этой беды. Я навалила поверх одеяла ворох мешков. Увы, не согрелась.

Теперь уже утро. Я не выспалась, дрожу в глухой полудреме, жмусь в комок. Как там лысый Яков? Он промок и замерз, и башмаков нет, он ноги сбил... А вдруг его поймали? Он так буднично сказал – рабство, ритуал, эликсир. Неужели взгляд в небо стоит всех мук и разочарований?

– Барышня-а! – проблеяли поодаль, и затем протяжно вздохнули.

От слов и в особенности от вздоха я взбодрилась... Подняла было голову, но меня долбанула догадка – как камень по затылку: быть не может, ну чересчур же! Этот-то откуда взялся здесь?

– Да неужели? – я высунула нос из-под одеяла, натянутого до макушки.

Между прочим, солнца – полная комната. Тень испуганно жмется к подоконнику... это что, скоро полдень?

– Проспала, – я сокрушенно признала очевидное.

Ежась и ругая себя, причем довольно громко, я в пять минут переоделась, причесалась. С сомнением накинула вязаную кофту: жару обещали, но я-то мерзну. Значит, соврали. В прогнозах часто бывают ошибки. Хотя – не у людей Дюбо.

Едва я приоткрыла дверь, жара поперла навстречу, аж маслянистая, шкварчающая птичьим пением и гулом пчел. Мне хватило ума скинуть кофту и лишь затем шагнуть через порог.

Первое, что я рассмотрела, располагалось совсем близко: туча синяка на щеке и лбу, багровое солнышко ссадины возле губы, распухшей на пол-лица. Щель глаза, подмигнувшего с вечера... и не способного поутру ослабить ухмылку.

– От кого ты не смог сбежать, боевой пианист? – поразила я.

Пришлось потрогать, чтобы поверить: синяк по брови украшен кровоподтёками и несколькими скобками швов. Скула разбита еще основательнее. Опухшая слева губа вдвое крупнее неопухшей справа... С лица прет радужное сияние – от лиловости до зелени, желтизны и багрянца.

– Неужто воровал у Мергеля? – недоуменно ляпнула я. – Хотя... он бы пристрелил.

Яков скорбно шмыгнул носом, воображая себя деревенщиной-Яном. Бросил взгляд украдкой, оценил произведенное впечатление, замер... и отказался от образа. Выпрямился, упрятал за спину шапку-грибок.

– Мергель-то что, даже зубов не выбил, – доверительно сообщил горе-налетчик. – А вот жена его! Повела в огород через дом. Ну и...

– И-ии? – с разгону переспросила я, стала просыпаться и резко покраснела. – На салыце потянуло? В тестомесы наладился? Каждый налетчик должен знать с первого взгляда, на что можно налетать, а на что нельзя!

– Так я и сказал: постный день. А она вот, – Яков указал на швы по брови. – Чудо, что добрый Мергель рано явился домой и выбил меня из беды, – Яков показал на скулу. – Спасибо, черенком граблей спас, а не кочергой.

– Дальше.

– Вот. Завтрак. То есть гостинец с намеком.

Яков нагнулся к стульчику, который я лишь теперь заметила. Бережно поднял жестянку – не иначе, по пути спер крышку садового бидона и скоропостижно назначил подносом. В крышке стояла глиняная чашка, с одного боку к ней льнула булка, с другого теснились разноразмерные осколки сахара. От запаха кофе я сразу облизнулась. Яков заметил, подмигнул здоровым глазом.

– Мергель сказал: эй, нечистый, я тебя у... ушлю в чистилище. Кочергой или даже пистолетом, ясно, ась? Но ежели Юлька тебя, тля, не изгонит в ж... Ну, сжалится... живи су... су-уетись. Пиёну укореняй. Вот.

Пока он излагал наказ Мергеля, подражая его манере держать голову и заменяя исковерканным выговором и уместными паузами выражения, не предназначенные для слуха барышень, я давилась булкой и шпарилась горьким кофе. Согревалась, ощущая прилив зверского аппетита. Хотелось отругать Якова. Что он, в самом деле, не мог разжиться творогом или кашей, раз пришел с намеком?

– Кто тебя фпуштил? – сквозь кусок булки слова пропихивались кое-как.

– Мергель дал всамделишную рекомендацию: годен копать до седьмого пота. Даже от медика печать ляпнута, я не вшивый и не тифозный.

Булка застряла в горле, едва удалось пропихнуть её с последними каплями кофе. Ну и ловкач! Ценою одного синяка... или не одного? Не важно, так и так первый случай на моей памяти: от Мергеля в неполный день ушел и вырвал рекомендацию. Все это – без денег и связей.

– Намёк проглотила. Скажи ему, что я сжалилась, и катись на поиски денег, – я широко махнула рукой. – Тут оплата смешная, ясно? И дело нудное. И холодно.

– Я честный, – с непомерным рвением поклонился Яков, почти став Яном, но удержавшись. Вздыхнул, трогая синяк. – Кто меня наймет? Опять же, я очень честный. И мороза не боюсь. И...

– Ты не колобок. Ты патока липкая, – заподозрила я.

Тоже вздохнула: как там выползок? Знать бы, удалось ли ему разжиться одежкой, позавтракать? Пожалуй, он справился: есть смутное ощущение, что в ночь я мерзла за двоих...

Рядом душераздирающе вздохнули. Я очнулась, кивнула неумемному налетчику, жаждущему стать рабом на цветочных грядках.

– Ладно, ты почти принят. Хотя намёк так себе, не увесистый. Творог и чай с малиновым листом сделали бы меня гораздо добрее.

Яков услышал главное для себя и как обычно пропустил прочее. Оживился, принялся весело врать, что творог красть трудно: не выведаль, где брать наилучший, а еще ведь надо отбиваться от крестьянок. Я немножко злилась на пошлый треп, но молчала, потому что хромал парень по-настоящему. Рекомендация обошлась ему недешево. И еще: я сообразила, что выходить за ворота Якову нельзя. Мергель поутру лютует, но в имение Дюбо даже он и даже невменяемым из-за мелочи вроде ссоры с «хорьком» не сунется. Значит, Якову жизненно выгодно задаром копать торф или мерзнуть в подвале с пролесками. Не такой он и дурак, что тащится рядом, продолжая односторонний разговор. Хромает через двор в сад, далее в галерею розария – и, наконец, во второй двор, именуемый санным.

У семьи Дюбо все педантично. В каждом их имении, так я слышала, на задах группы зданий выделено по три-четыре двора: для подвоза дров и угля – «черный», для продуктов и напитков – «винный», для ухода за садом и вывоза скошенной травы – «сенной», для хозяйства, от стирки до чистки выгребных ям – «мойный». Одни дворы примыкают к зданиям, другие сторонятся их и устроены с учетом розы ветров, особенно мойные. Всё это следовало рассказать Якову, но я молчала. Отчего-то мне казалось, он и так знает. Глупо злиться на человека из-за его умения выживать. Но ведь – злюсь?

У выхода из розария притаился человек с серой униформе. Никаких знаков отличия, но я уже видела такой цвет одежды в сочетании с военной выправкой.

– Кто он? – прошелестел серый, перегородив дорогу и глядя мне в подбородок.

– От Мергеля, вроде должника. Велено использовать на подсобных работах. Еще велено, чтобы заказ для сада Мергеля помог исполнить. Я предупреждала о том заказе.

– Документы, – серый повернулся, норовя взглядом проделать дыру в голове Якова, точнее, в его шее.

Яков – вот спасибо ему – шляпку деревенщины не напялил и сопением момент не усложнил. Молча передал документы, сразу в развернутом виде. Серый глянул, кивнул и пропал. Я передернула плечами. Знаю странности усадьбы, но порой они делаются слишком явными.

– Если тебя стукнут по башке, а после ты очнешься невесть где, обратно не приходи, добыют, – сказала я, не зная, шучу ли. – У Дюбо с наймом замысловато. И Яна убери. Не годен вообще.

– Понял, – нормальным голосом откликнулся Яков.

– Лопата. Грабли. Совки. Лейки. Ведра для песка и торфа. Сосновые и еловые иглы, крашенная щепка. Тачки садовые. Там в подвале – лед, топорик и прочее полезное. Это все, что можно и нужно брать или возвращать на место. Конечно, кроме пролесков. Но запомни: к рассаде без меня не подходить. Дверей в подвал пальцем не трогать! Был тут работник невеликого ума. Устроил сквозняк, завяло пять коробок редкостного «синего инея». В коробке тридцать корней. Каждый был оценен в десять рублей. По слухам, семья продает дом, чтобы рассчитаться. Это не шутка.

– У тебя есть лишний дом, чтобы продать? – насторожился Яков, и мне показалось, что переживает он искренне.

– Нет.

– Беги без оглядки, – громко шепнул неумемный.

– У меня особые условия найма. Меня выставят отсюда без копейки, если что. Отсюда – это из Луговой вообще и навсегда. Так что не порть мне жизнь, налетчик.

– Постараюсь, – серьёзно пообещал Яков.

– Правда не боишься холода?

– Правда. А что?

– Надо прополоть рассадку в ледниках. Та, что подешевле, идет по рублю за корень, если кто-то решит придрататься. В общем, не путай её с сорняками ради шутки.

Яков тягостно вздохнул. Я выдержала паузу, но бак-присказок не дождалась. Или он выдохся, или решил не тратить силы, забалтывая меня.

Работал Яков гораздо лучше, чем я опасалась, принимая его без проверки. Почти сразу начал отличать сорняки от ростков. Ловко ворошил хвою, вывернув из мешков для просушки. Не спорил и не путал указания: велено красить опилки в розовый цвет – значит, в розовый. Сказано усердно просеивать по размеру, а после выбрасывать все и без пояснения причин – значит, так тому и быть. И он правда не мерз, подолгу оставаясь в леднике. Я уверилась в этом на третий день общей работы: Яков не кашлял, руки постоянно были теплые. Не то что у меня...

К концу недели на делянках, в подвалах и ледниках работало семь помощников, их удалось отобрать, проверив в деле четыре десятка желающих наняться. Не знаю почему, но я всех новеньких мысленно делила на «яковов» и «янов»: на городских пройдох – и простоватых селян. Соответственно распределяла работу и одних ругала, а других хвалила.

Затененных дней больше не приключалось. Солнце жарило во всю, но не могло нам помешать: подготовка к торжественному чаепитию в «Первоцвете» двигалась без сбоев. Все бы хорошо, всё и у всех... Но, увы, не у меня: ночь за ночью я мерзла в утомительных, темных снах. И ведь никому не пожалуешься! Особенно помня совет выползка. Он прав! В лучшем случае выслушают и молча плечами пожмут: странная эта Юна. А в худшем... вот чую, не надо доводить до худшего!

Утром седьмого от грозы дня Яков снова явился будить и кормить меня. Это было странно: зачем тратить на пустяки единственный выходной? В Луговой мало кто помнит о днях отдыха. Хозяевам имений и их гостям такое ничуть не важно, а работники трудятся посменно и неустанно весь сезон. Для моих садовых наемников – всех, кроме дежурного – выходной выделяется, я обговорила это, нанимаясь к Дюбо.

С вечера я решила, что Яков в первый же день отдыха умчится «шабашить». Едва словцо пришло на ум, к нему добавилось тупое раздражение на ловкость Якова и на мою дурную безропотность: никого заранее не назначила, придется самой лезть в ледник...

И вот оно – утро. Я кругом неправа, зато выспалась и бездельничаю. Яков, судя по тому, как он многозначительно звенит совком о грабельки, без указаний с моей стороны слазал в ледники и всё там прополот. Таков нынешний гостинец с намеком. Ох, чего-то весомого ему надо взамен, раз ноет «барышня-а» противнее охрипшего кота...

Фыркая от любопытства, я вмиг оделась, умылась и толкнула створки единственного в комнатке оконца. Выглянула и сразу рассмотрела: Яков приволок марлю творога, пять крохотных ватрушек, кольцо колбасы и пузатый чайник. Все богатство сгрудил на столе-временке из досок, уложенных на пеньки. И стол, и сам Яков рядом, рукой подать – в шаге от оконца.

Руку мне Яков подал сам и охотно, разместив на ладони вкусняшку.

– Ну, подкупай доходчивее, пока не понимаю, – предложила я, дожевав ватрушку и жестом требуя вторую.

– Юна, ты болееешь? За семь дней с лица спала и иногда... качаешься, – без усмешки спросил Яков. Поставил на подоконник чашку с чаем, блюдо с пластами творога. Сел на завалинку, откинулся на стену. Прикрыл глаза, делая вид, что загорает под ранними косыми лучами. – Как вообще можно мерзнуть в такую жару?

- Я думала, никто не замечает, – огорчилась я, плотнее кутаясь в кофту.
- Никто. Я пустил слух, что ты простыла в грозу.
- Спасибо. Тогда нет смысла отрицать... мерзну. Мне снится зима, – призналась я и сразу пожалела об этом. Не хочу объяснять прочее. Его многовато – прочего!
- Ага, попалась-проболталась! Дальше давай. У меня три ватрушки в запасе.
- Есть люди, которые живут сегодняшним днем. Им не страшно из-за последствий, любых. Они напиваются без мысли о похмелье, заводят знакомства без оглядки на приличия, жрут в три горла и не думают о жирном брюхе.
- Это ж я, – Яков расплылся в улыбке.
- А есть те, которые живут завтрашним... или вчерашним. Они так заняты последствиями, что ничего не могут начать. Это я. Я не боюсь, тут другое: думаю больше, чем следует. Может, меня стукнуть по голове? Я ужасно от себя устала, Яков.
- При чем тут зима? – он вернул разговор к изначальной теме, словно я не пыталась отгородиться от неё частоколом слов. Поднял руки, намекая на перемирие. —Язык откушу, а не выдам тайну посторонним. Юна, я серьезно... почти.
- Будем считать, что совсем серьезно. Не болтай об этом. Мне снова и снова снится чужая зима, и кто-то умирает в той зиме. Боюсь даже шепотом сказать, почему и как. Я постепенно замерзаю... и узнаю ответ. Не хочу, а он вроде бы рисуется инеем по стеклу сна. Ночь за ночью.
- До чего же ты манерная барышня, – Яков повернул голову, подмигнул мне и снова прижмурился. – Тебе бы воз денег, страдала б возвышенно. Нет, стало б еще хуже. А так... мозолей набьешь, через них маета и схлынет. Айда пиёну укоренять, ась? – предложил Яков и быстро добавил: – Драчливое тесто в отъезде. Я подрядился настроить пианино. Бесплатно. Вдруг от звука отогреешься, ась?
- Яков, и чего ты тратишь на меня силы?
- Да так, – он дернул плечом. – Изучаю. Обычно я сразу схватываю в людях главную нитку. Про себя зову таких, в одну нитку, «люди на бантике». Дерни – и они распускаются... то есть делают то, чего я жду. А ты сплошной клубок мороки. Все с подвывертом. Аж злость берет! Я бы тихо злился, но не получается. Есть один очень дорогой мне человек. Я поймал сходство его слов с твоими сразу, мы еще ехали от станции. И вошло в ум: раскушу тебя – смогу стать менее примитивным. Он умница, умнее меня в тысячу раз. Ему всегда было сложно со мной, я причинял боль и разрушал порядок. Иногда случайно, иногда и намеренно. Мы не общаемся. И мне больно, чем больше времени проходит, тем хуже... Но я не знаю, как изменить это. Все это.
- Ты сегодня честный? Уши от твоих слов в трубочку не сворачиваются, как обычно. – Я взяла третью ватрушку, своевременно подsunутую Яковым. Прожевала и хмыкнула. – То есть ты используешь меня, предупредив.
- Ага, – легко согласился Яков. – На твоём примере изучаю природу особенных людей. Опробую, что с вами работает, за какие нитки вас дергать.
- Сегодняшняя нитка – честность?
- Он не ответил. Душе стало немножко больно. Ощущение натянулось и пропало, стоило вздохнуть поглубже. Я подышала, глядя вдаль и делая вид, что приноживаюсь к чаю. Попросила заново наполнить чашку.
- Что сказать для пользы дела? – я смирилась с тем, что меня используют.
- Все годится. Дело такое, в нем нет пользы, одна маята.
- Ладно. – Я задумалась. Частые и мелкие облака скользили, как облетающий яблоневый цвет. – Люди вроде цветов: все цветы называются цветами, а разве они схожи?
- Есть роза, а есть сурепка. Это даже мне видно, – хмыкнул Яков. Вдруг встрепенулся, умчался и явился вновь. Подал мне розу на длинном стебле, грубо выломанную в ближней оранжерее. Протянул нож. Вдохнул и торжественно велел: – Отдели живое от мертвого!

– Это как?

– А так... – он хмыкнул, вроде бы чуть виновато. – Жив так проверяют, когда они еще маленькие и дар в них не заметен. Это первый навык. Срезать стебель по живому. Цветы, срезанные живыми, остаются свежими втрое дольше, чем срезанные обычными людьми.

– Не знала...

– Глупая была подначка, – Яков шагнул в сторону, сунул розу в бочку с водой – слева от двери, под водоскатом. – Срезанные живыми цветы не дают корней, это второй признак их дара. А ты срезаешь, и всегда прут корни. Я присматривался.

– Мята, три дня назад, – кивнула я, и на душе стало тяжелее. – Не просто так принес.

– Я же налетчик. Не сердись, а? Я признался.

– Сержусь. Но ты признался... ладно. Что я говорила о цветах до этой твоей гадости? Ага: все разные! Есть вершки и корни. Клубни, луковицы и ползучие плети, готовые стать вершками, если садовник не уследит. Тебе в людях интересны вершки, причем сегодняшние. Кто чем живет в этот день, много ль ему досталось солнца, сколько он стоит в срезке или в горшке. Мне заняты корни. Почему первоцветы выстреливают среди снега и прячутся, когда прочие цветы только проснулись? Что за сила у них – не бояться зимы? Отчего их судьба – вспыхнуть синевой среди льда и сгинуть... Столь краткая жизнь – трагедия или дар? Пролески не знают старости, они возвещают весну.

Я сунула пустую кружку в ладонь Якова. Он замер, жмурясь и хмурясь. Переваривал слова... или принимал, как микстуру? Пока он искал пользу в моих рассуждениях, я дотянулась до шляпки, висящей на крюке у кровати. Быстро прошла через комнату, распахнула дверь и выбралась во двор. У меня одна шляпка, это трагично для барышни. Но я привыкла. Засова или замка на двери моей комнаты нет. Это для барышни совсем нехорошо, хотя в имении Дюбо ночных татей не водится.

– Пошли укоренять. Только ты говорил, что утром Мергель не в себе.

– Я пригляделся, – нехотя пояснил Яков. – Когда дрожжевой бабищи нет дома, он трезвее святоши. Он, знаешь ли, хваткий. Куда умнее, чем я решил сторяча. Нет, не так. Он выскочил из орешника и обманул меня, а я обманулся. Не могу понять: таков его способ проверять людей... или ошибка целиком моя, я поспешил?

– На его месте ох как надо прикидываться дураком, чтобы и власть иметь, и голову сберечь. – Я поправила шляпку, глядя в стекло полуприкрытого оконца. – Два года назад я назвала Мергеля древовидным пионом и пояснила: это особенный цветок, он не таков, каким кажется, и растить его – сплошная морока. Прожить способен сто лет, двести, даже триста. Многие породы деревьев позавидуют его живучести. – Я хихикнула. – А еще цветет махровым цветом. Это добавил сам Мергель, и сиял так ярко, словно прикупил имение Дюбо с титулом в придачу. Когда весной в оранжерее с разбитыми стеклами нашелся полудохлый пион, это было нечто!

– И мне можешь подобрать цветок? – ревниво уточнил Яков и сразу указал направление: – думай, а пока в путь.

Оказывается, Снежок уже запряжен, пионы в кадках – из пяти кряжевских я спасла три – выстроены в ряд в шарабане, мох и можжевельник тоже здесь. Лопаты, торф, прочее полезное уложено и увязано. На всякий случай я проверила запасы, не нашла ничего лишнего, похвалила Якова и заняла место на скамейке. Конечно, правил он. Я доедала последнюю ватрушку и глазела по сторонам, иногда кивая знакомым. Я не особенно много людей могу распознать в лицо. Не уродилась остроглазой, да и знакомства завожу манерно. Вот и теперь. Поправляю без пользы шляпку, тяну рукава, а сама – думаю. Какой из Якова цветок? Проще всего сказать: репей! Но это будет насмешка, и не более... Крапива? Мимо. Ежевичная поросль? Нет, хотя – он цепкий и лезет всюду, искоренить его совсем и бесследно – не получается.

– Луговой звонец? – негромко предположила я.

– Желтушник что ли? – Яков переиначил название на северный манер. Резко отмахнулся. – Ничуть не похож.

– Двуликий, – я загнула указательный палец и продолжила перечислять, – на любом лугу свойски лезет в тесноту разнотравья. Иной раз питается, присосавшись к соседям: можно сказать живет их соками, а можно – сплетнями всего луга. При этом выглядит безобидным. Все верят, что годен для сказок. Такой цветок – особенная беспородь: никто про него лишнего не подумает и в то же время отметит с приязнью.

Все пальцы загнуты. Я перевела дух и вопросительно глянула на Якова. Он покивал и не ответил. Тишина меня обрадовала. Без болтовни удобнее смотреть по сторонам. Весна – замечательное время. В каждый новый день мир вступает обновленным. Перемены светлы. Сегодня я заметила: а ведь раскрылся полный лист! Лес еще пестрый, сочно-весенний, но это обман, на самом деле лес готов к лету. Листва теряет особенный оттенок младенчества, детства. Первый цвет листвы – тот, в котором она проклюнулась из почки, самый вычурный. А еще – пророческий! Клены в почках красны и коричневы, такими они станут снова, увядая. Березы золотисты в крохотных листьях и сережках... Летом лес не помнит пророчеств весны. Это и для людей верно, взрослея, мы перестаем верить в простые чудеса, окружающие нас. Не смотрим по сторонам, уж тем более не вглядываемся.

– Ничего плохого не сказала, но я обижен, – прошипел Яков, да с такой злостью! – Не желаю быть желтушником. Ни-за-что! Мергель вон – пиён иноземный. А я двуличный сорняк. Вот же вредная барышня! Кормил её салом, сказками и творогом, и все равно оказался сорняком.

Снежок фыркнул, Яков нахохлился пуще прежнего, записав коня в насмешники. До самого дома Мергеля мы доехали молча. И помощника Яков нанял, не спросив меня, нужен ли и годен ли: кинул монету деревенщине, шагавшему по обочине, указал место в шарбане, словно имеет право распоряжаться всем. У дома Мергеля разгружал привезенное опять молча. Я не мешала чудить. Мне нравилось: первый раз не я злюсь на налетчика, а совсем наоборот!

Мергель ждал нас у ворот. Сиял праздничным самоваром и даже на таракана не походил. Подал мне руку, повел в беседку. Мазнул взглядом по наемному мужику, и даже не поморщился, допуская чужого в сад.

Стоило ли надеяться, что оранжерея, которую Мергель обещал выстроить для пионов, готова? Я и не наделась, раз взяла с собой мерную ленту, листки и карандаш. Сверилась по солнцу, посмотрела почвы, спросила про грунтовые воды, придирчиво изучила деревья, которые могут позже вырасти и затенить... Принялась рисовать. Мергель трижды отказывался от готовой схемы оранжереи, рвал бумагу и яростно требовал «все по первому классу делать, как ентим Дюбам вековым и не снилося, ась?». Наконец, рисунок его устроил, и Яков с помощником занялись земляными работами.

Я взяла новый лист и письменно перечислила указания по уходу, прихлебывая чай: Мергель обещал его давным-давно и наконец изволил вспомнить об этом. Не иначе, у самого в горле сухо. За чаем Мергель блаженствовал, читая указания и требуя толковать их. Оказывается, у него уже имелся садовник! Он-то и принес чай, и теперь почтительно внимал моим словам... Заодно Мергель вымогал лиану, а я вяло упиралась.

В общем, время шло, дело двигалось. А Яков – я искоса поглядывала и переживала все сильнее – продолжал злиться! Рыл так, кроты б обзавидовались! Селянин на подхвате потел и едва успевал оттащить ненужный грунт и подтаскивать нужный. Мергель от скорости работ добрел. Обещал накормить обедом, а пока созерцал пионы в кадках и причмокивал: вот-вот появится оранжерея. И не абы какая, со смыслом. Выращивать себе памятник – дело тонкое и чувствительное.

– Юлька, подь сюды, – Мергель вдруг нагнулся вперед. – Ты ж такая чудь юродивая, аж меня прошибает на слезу. Обстоятельности в тебе нету, старших подле тебя нету, денег за душою у тебя... А, пропащая. Хоть у меня малость ума получи за труды, ась? Во, глянь на хорька: глянь и запомни.

– Глянула, – недоуменно кивнула я, рассматривая спину Якова. Потел он мало, хотя вырыл яму по пояс и продолжал яростно рубить пласты глины. – И что?

– Мужик за работой должен волновать бабью душу... и телу. Во такой мужик, – Мергель тоже изучил спину Якова. – Не запойный, не трутень. Судимость на ём, но мелкая – рукам удержу не знает. Еще зуб-другой сплюнет и поутихнет. Не дурак же, ась? Гонору в ём гора, жену высмотрит себе грамотную, чтоб выгуливать её, остепенясь. Тож тебе в пользу. Ага: нищий покудова. Вовсе удача. Смекаешь?

– Господин Мерголь, – я ощутила, что согреваюсь, начиная от ушей. – Вы что...

– Пример даю, – он глянул на меня особенно остро. – Пример! Гля: такого приметь. Не годен чернявый, ищи белявого. А токмо выкобениваться брось. Юлька, бабе надо уметь прилепиться. Я по душевной доброте показываю, к кому лепиться с ничтожным достатком и дурьей башкою. Гля: образец. С еного и начни умнеть. Покличет гулять по опушке, беги-и! Оно не вредно. Я к чему? – Мергель значительно свел брови. – Я тебе друг. Значится, и лихой поганец не забалует на моей земле. Пользуйся, Юлька.

– Добрый вы человек, – кое-как выдавила я. – Заботливый. Благодарю за науку.

Мергеля надо благодарить, иначе он мигом взъестся. И начнется такое... уже дважды начиналось, хватит с меня.

В ушах звенело. Сами уши, вот чую, сделались малиновые. Хорошо хоть, шляпка сидит низко, тень на лицо бросает. Ну и жара! Вообще не помню, что мне снилось про зиму. Мысли расплавились. Чай принесли повторно. Хлебаю кипяток, моргаю и старательно улыбаюсь дрожащими губами. Как только яма получит нужную глубину, сбегу из беседки давать указания по укладке дренажа. Всякое дело, спасающее от нежной заботы Мергеля – драгоценно.

Когда день накренился к вечеру, пьяно багровея, три пиона гордо и просторно укоренились посреди непостроенной оранжереи, размеченной колышками и бечевкой. Роза Мергеля лоснилась от радости, да такой жирной – я аж издали изжогу чую. Икаю. Тихо радуюсь, что зрелище делается мельче, дальше: Снежок бодро шагает и чуть пофыркивает. Все бы хорошо... Но Яков молчит, сутулится: продолжает злиться. Гордость мешает ему отдать вожжи, хотя усталость требует замертво сползти на дно шарабана.

– Эй, почему я получаюсь совсем виноватая? Мергель тебе не заплатил, а не я, – трудно сказать прямо то, что еще не сложилось во внятную мысль.

– Потому что я – двуличный сорняк, – мрачно выдавил Яков.

– Отдай вожжи. Хватит злиться, я извиняюсь изо всех сил. Правда.

– Не очень-то получается, – хмыкнул Яков. – Вожжи ей. Вот еще.

– Дал бы вожжи, я бы направила Снежка во-он туда, – я указала на дорожку, готовую вильнуть вправо. – До пруда рукой подать. На берегу трактир «Пестрый ёрш». Говорят, у них лучшее пиво в Луговой. Я сама не проверяла, мне не полагается гулять по трактирам: я вроде и барышня, и шабашник. Ни к хозяевам за стол, ни к работникам.

– Ай-ай, спину свело, – простонал Яков. Быстро глянул на меня и взвыл еще натуральнее. – О-уу... Рука отнимается. Две руки, обе-две! И денег у меня, – отнявшаяся рука ловко щелкнула пальцами, – ни копейки.

Ба-бах! Я дышать перестала: жертва бесплатного труда рухнула спиной со скамейки, это ж шею можно сломать! И когда успел вожжи бросить? И ведь не разбился: стонать продолжает, а сам мягко перекатился на бок, щеку ладошкой подпер – и заныл на мотив народной песни. Звучало до слез жалобно, вот только слова... он перечислял меню! Мол, уху желаю-ах,

без пива исчахну – ох-ох, бок колет-ой, не излечить его без припарки о трех расстегаях-ах, да с огурчиками-ей, которые хрустят как больная шейка-хрясь...

– Юна, ты правда ни разу не бывала в «Ерше»? – Яков прервал стоны и вмиг оказался на скамейке. Отобрал вожжи. – А ну зашумят там к сумеркам? Ты ж шума не любишь.

– Тебя надо накормить. Неудобно получилось. Мергель за нанятого нами работника не выплатил, корки хлеба тебе не дал, да и меня пустым чаем весь день поил, словно я водохлеб.

– Он решил, что я ловчей его ловкач, вот и остерегся заводить речь о деньгах. Продержал нас в саду, – согласно хмыкнул Яков. – Пустой день. Пианино не удалось настроить. Но ты вроде согрелась? Да и я поостыл от утренней злости. Вообще-то не к тебе обида. Желтушником меня уже дразнили. Кое-кто так усердствовал, что начал шепелявить... а мне пришлось отправиться на север. Юна, ты правда не знала?

– Чего не знала?

– Дурак я. Ты бы не сподобилась шутить зло... Да уж, весь день прокипел зазря, – Яков смутился, почесал в затылке. – Опять ошибся. Тут не север, не тайга. А, ладно, сам начал историю, самому придется продолжать. Таких, как я, к востоку от столицы зовут дикой порослью, а дальше, в северной тайге, нас кличут лесными неублюдками, кукушатами и еще много как. Иной раз и желтушниками.

– Каких – таких? – у меня голос сорвался.

– Смугловатых, с прищуренными глазами, невысоких, чернявых, – криво усмехнулся Яков. – Таежные люди живут своей верой, тайным укладом. О них там, в диком краю, дурного не говорят. Не пересекаемся мы с ними почти ни в чем. А вот полукровки... все такие прижиты горожанами от любовниц. А те любовницы – шаманки таежные. Их зовут кукушками. Выйдут в наш мир, родят дитя и бросают чуть погодя, если негодное. А какое им «годное», вне леса никто не понимает.

Я погладила его по руке. Отметила с недоумением: у Якова не дрожат пальцы. Весь день он копал, как бешеный, но свежих мозолей нет. И потом от него не пахнет...

– Давай подберу другой цветок.

– Я б не злился, если б ты ошиблась, – озлился Яков. – Но я сперва подумал глупость, а после... на себя рычал. Ведь сам спросил! А зачем? Затем, что я... как бишь к западу от столицы называют цветок?

– Звонец. А то не знаешь.

– Звонец, – он фыркнул. – Да уж, что есть, то есть. Точно про меня. Барышня-а, а ты пиво пьешь? А гостинец братцу Яну купишь? Ряжской воблы три пудика, сладенькой.

– Вразуми братца, Яков: не влезут в шарабан три пуда этой заразы, способной обломать и железные зубы.

– Тогда кулёчек на пудочек, – он умудрился сделать кроткое, скорбно-просительное лицо. Свел ладони в горсточку и поморгал, умильно сопя.

– Кулёчек? – я отвязала от запястья кошель на ленте и уложила целиком в горсть просителя. – Больше денег нет. Торгуйся. Тут и уха, и вобла с пивом.

Яков встряхнул кошель и вслушался в звон.

– Тебе пить вредно, – тон злодея стал деловым. – А мне зубы ломать полезно.

Я пожала плечами, удивляясь постоянству трат на Яковых в этом сезоне: в кошеле, если верно помню, пять рублей с какой-то мелочью. Выползку досталось столько же. Интересно, для здешнего трактира пять рублей – много или мало? Может, пора краснеть и сбегать? Вдруг обед можно заказать лишь целиком, это вроде бы называется «накрыть стол». А после хоть один сиди, хоть с гостями...

В ухо хихикнул Яков. Еще бы! Я не молча выдумывала страхи, я проговаривала самые навязчивые. Начала выдумывать беды еще в шарабане, злясь на подначки «налетчика», а про-

должила это бесконечное занятие, вцепившись в перила крыльца и на всякий случай изучая ивняк, художественно высаженный по берегу. Редкий, для спасения бегством – негодный.

Яков не страдал и побега не затевал. Он мигом пристроил Снежка и шарабан, поговорил с кем-то у конюшни, посмеялся с кем-то во дворе и подкрался обратно ко мне, чтобы громко кашлянуть в ухо.

– Ай! – я не стала расстраивать налетчика.

– Актерствовать и не пробуй, честная барышня, – Яков поддел под локоть и потащил в трактир. Сама бы я не сдвинулась с места. Меня моими же страхами приклеило к крыльцу. Но Яков вел настойчиво, а говорил покровительственно. – Приятственное заведение. И Яну уютно, и Якову занято. В сезон тут на пять рублей не загуляешь, но пока что весна. Подбородок выше, мы годные гости.

– Да ну тебя, – с нескрываемым облегчением выдохнула я.

– Мне разболтали по секрету, вон тот стол лучший. С видом на озеро, в стороне от гульбищ. Сегодня тут тихо, но я предусмотрителен... Ей светлого, мне темного густого, – велел злодей. Он уже отвернулся и говорил с парнем в красной рубаше, подпоясанной намеренно растрепанной верёвкой. – Прочее сам сообрази, ага?

Яков выдвинул стул, дождался, пока я сяду, и снова подвинул. Вышло ловко и привычно... я опять задумалась: кто он такой? Трактирные пианисты не обучаются подобным манерам, уж тем более не практикуются в них. Пока я думала, Яков вытряхнул содержимое кошелька, не глядя, в горсть «красной рубашки», назвав парня Окуньком. Оба засмеялись – стало понятно, они успели позубоскалить и теперь почти друзья.

Проводив взглядом денежку, которой мне хватило бы на две недели тихой жизни, я не испытала огорчения. Разве смутную досаду: явись я сюда без Якова, и заказ бы не сделала. А налетчик вон – уже сошел за завсегдатая.

Мне под руку подсунули глиняную кружку, холодную и чуть влажную на ощупь. Пена – горкой. Якову досталась кружка вдвое больше. Он блаженно вздохнул и принялся лизать пену, пока по столу звонко стучали доньшки тарелок с закусками и зеленью.

– Давай я извинюсь, – предложил Яков, сделав первый глоток. – Я плохо подумал о тебе еще на станции. Сразу решил, что барышня высокомерная до тошноты. Такой был день, – Яков растер старый, почти сошедший синяк. – Три раза кряду я ошибся: о тебе подумал плохо, о Мергеле – самонадеянно, а уж с его женой... Н-да.

– В тот день ты спросил про живок из-за своей семьи, – сообразила я. – Лесные шаманки, они тоже из породы жив?

– Они другие и... никто не знает. Однажды я сбежал в лес. Дурак был малолетний, хотел найти родную мамку, – Яков сделал несколько крупных глотков. – Увяз в болотине, подвернул ногу и налетел на старого секача. Три раза почти умер, в общем. Днями и ночами брел и брел... орал, что хочу увидеть её. Вода кончилась, еда, силы. И все, стало темно... После я узнал, что лесные люди вынесли на опушку. Ни один со мной не заговорил. Так я понял, что для них я чужак. А дома отец избил меня в первый и последний раз за всё время... Так я решил, что ему я дорог. Больше не искал ту родню, – Яков допил пиво и отодвинул кружку. – Но я ищу ответы к старым вопросам. Для того и начал разговор о живках. Хотя чего уж, ты поняла, как я отношусь к этим ловким бабам.

– Разве у меня могут быть ответы? Да, мне не нравятся живы. От храмовых – мурашки, от наемниц... брр, отвращение.

Я отхлебнула пиво и стала искать годную закуску. Яков подвинул тарелку с хрустящим хлебом и свиными шкварками.

– А мне хочется сворачивать им шеи, – ласково прошептал Яков. Хмыкнул, изучая мое отчаяние. – Хочется, да. Но я держу себя в руках. И еще раз извиняюсь. Когда ты увидела стаю птиц, был краткий миг... я заподозрил, в тебе подлую породу. Ты учуяла прядение и замерзла.

Их работу так называют – прядение, а чуткие люди рядом с прядением или горят всей кожей, или мерзнут. Второе встречается столь редко, что такой признак не всем осведомленным известен. Ты не знала?

– Не-а. Яков, – от пива мир стал удобным, как севшая по ноге обувь. – Яков! Почему ты не устал за целый день? Мне глядеть со стороны было тяжело.

– Устал, – утешил меня Яков. – Только я железный от природы, а когда я зол, меня вовсе не умотать ничем... Закажу чаю. Не то утром проклянешь.

– А ты и напиваешься трудно, да?

– Очень. Но это что, – Яков расплылся в счастливой улыбке и обнял полуведерную емкость с ухой. – Уж как я трудно нажираюсь! В меня войдет еще одна такая мисочка, и даже две. И три бы влилось... жаль, третья сверх пяти рублей.

Смотреть, как он ест, было поучительно. Я отщипывала от рыбьего бока по волоконцу, глотала через силу... меня тошнило от зрелища. Яков облизывался, хватал то крупный ломоть хлеба, то целиковый зубок чеснока, то огурчик. Все хрустело и перемалывалось мгновенно! И казалось, встать он не сможет. Под столешницей у него отвисло брюхо покрупнее мешка – тощий человек не вместит столько!

Мне дважды приносили подарочки от повара: блюдца, а на них вкусный пустяк и рюмочка. Полагалось выпить в один глоток и сразу закусить – мне Яков пояснил. После второй рюмочки голова сделалась пушинкой одуванчика. Невесомая, и шейка длинная под ней, и весь мир не колышет... В трактире нет ветра, место расчудесное, я могу удерживаться за столом, даже пуховая... Яков что-то спрашивал о возне с пролесками, о том, кто приедет принимать работу – старался поддержать беседу. Я не могла говорить о сложном, но пролески – легкая тема. Я люблю растить цветы. Окончательно это сделалось ясно три года назад, и с тех пор я мечтаю о крохотном магазинчике с садиком. И чтобы все это помещалось в пригороде, на тихой улочке, куда лишние люди не забредают. Мне много не надо. Кажется, я и это рассказала Якову. Если б он догадался спросить о выползках, разболтала бы про лысого тезку... Но – не спросил. Или я не запомнила эту часть разговора?

Стало смеркаться. Над озером по одной расцветали звёздочки, похожие на пролески. На террасе жарили на углях что-то шкварчащее, дымок стлался по воде и стирал отражения звёзд – словно собирал их для букета на небесном лугу. Вода была прохладная, дымок – теплый. И небо имело теплый тон, но у горизонта грудился снег облаков. Я отдыхала душой и смотрела в ночь... На столик поставили свечу, в кольцо жёлтого света мы сидели двое – я и Яков, и потому я была надежно отделена от тьмы. Яков – он яркий... рядом с ним могу принять то, что неделю вымораживало сны. Оно отодвинулось, и такое – увиделось со стороны целиком.

Кто-то другой смотрел в иное небо. Там бледные звездочки давил тучевой сугроб. Тот человек намертво вмерз в отчаяние, хотя все еще жил и дышал колючей болью. Он обладал тонким слухом: рядом, за стеной, его обсуждали неторопливо и безразлично. Мол, зачем молчун упирается? У них есть опыт и средства убеждения. Для них получение списка имен – лишь вопрос времени. Время у них тоже есть... Молчун был слаб после пыток, а еще он остался один в целом мире и глядел в небо, страшно далекое небо за решеткой... Прутья резали душу: он хотел жить, но ненавидел себя, жадного до жизни! В какой-то миг боль стала невыносимой, и он...

– Нет! Не-ет...

Я закричала и сразу, в один вздох, поняла: я дома, в родном мире! Я в безопасности. Живая... а человек из моего сна выбрал смерть. Он только так мог сберечь тайну списка имен. Тайна имен – это жизнь для всех людей из списка. Эта тайна осталась нерушимой. Молчун так решил... И мне, в моём безопасном мире, в яви, стало холодно из-за кошмарного выбора в чужом сне. Из-за безысходности: любой выбор был убийственным в прямом смысле.

Я до боли сжала кулаки. Надо отделить себя от сна! Мне не изменить прошлого, тем более чужого! Я – на свободе, я не захлебываюсь кровью и не слежу обреченно, как тьма делается безмерной и жрет меня, рвет в клочья... Тьма рычит, как сторожевая псина, и она кажется псиной, даже запах... ужасно. Особенно взгляд. Тьма понимала выбор молчуна – и не принимала его. И тьма что-то решала. У неё было право решать. Кажется, она могла сожрать без остатка – или спихнуть куда-то... не знаю, куда.

– Юна, очнись! – Яков встряхнул за плечи, и лицо его появилось близко. – Юна! Эй, не ходила по трактирам, и впредь не пробуй. Спиртное тебе бесполезно.

– Мы... где?

– В полуверсте от имения. Скоро доберемся. Я перепугался, ты вроде потеряла сознание, а вроде и нет: глядела в пустоту, и была белая, как бумага. Я не сразу понял, как всё худо. Ты твердила про садик, цветы и пригород. Но уж когда пятый раз повторила, да слово в слово, – Яков снова встряхнул меня. – Эй, ты в порядке? Да?

– Не мерзну. Даже не пьяная. В порядке, – уверила я себя. – Яков, это ты странный. Из-за тебя все двоится в моей жизни.

Ему хватило ума не спрашивать, о чем я. Ответа не получил бы. И как объяснить? Я встретила одного Якова и дала его имя другому. Мы ехали в шарабане, меня знобило, и попутчик добыл плед. И вот я опять в шарабане, укутана пледом. Здоровенным – не иначе, Яков вытребовал в трактире самый теплый. Или украл? А, не важно. Погони-то нет.

– Ты наелся? Или я испортила ужин?

– Успел, – расплываясь в улыбке, закивал Яков. – Ветчинку утянул. Вот, жуй. И кваску вытребовал. Пей.

Он подсунул мне под руку корзину, набитую пакетами и бутылками. Откуда все это, уворовано оно или куплено, я не стала спрашивать. Наугад выцепила хлебушек с хрустящей коркой, принялась отщипывать по крохе. И стало мне хорошо. Вот только шарабан... У него есть крыша, а мне не хватает неба. Пришлось просить Якова помочь пересесть. Стоило шевельнуться, как тело пробила крупная дрожь. Яков засуетился, даже слишком. Но думать – не хотелось. Я глядела в небо. Приключилось что-то волшебное: звезды полыхали, я могла рассмотреть их лучше, чем когда-либо прежде. А еще я слышала весь мир, от птичьих трелей в дальней сирени и до шороха лапок мохнатых весенних жуков, ползущих по гибким травинкам. Я видела и слышала, смотрела и слушала... и хмелела от обилия впечатлений. Это было приятное опьянение, дарующее сладкий и крепкий сон.

Утром на меня снизошла безмерная ясность сознания. На душе сделалось легко, словно смурные тени отменены свежизданным вселенским законом! Очень кстати: до чаепития Дюбо всего-то пять дней. Плотно скручивается вихрь суеты, споров и ошибок: пролески вянут, лед свежего подвоза – с болота, он дает тинный запах при таянии; мешки с цветными опилками перепутаны и частично по ошибке вывезены на дальний двор в Луговой; один из опытных работников потянул спину; стекло раздвижной крыши дало трещину... Всё это – еще до полудня, и все должна выслушать и разрешить именно я. После полудня добавился груз новых случайностей, к вечеру их отяготил своей казенной рожей проверяющий. Он явился пряником из столичного дома Дюбо, шнырял всюду и был недоволен всем и всеми – от манер чернорабочих на растопке кухонных печей до недружного цветения яблонь.

Обилие событий не подавляло меня. Иногда делалось дурно, но стоило взглянуть в небо – и снова дышалось, и мысли приходили в порядок. На четвертый день, пребывая всё в той же безмятежности, я мысленно решила: таков дар лысого выползка. Стоит вспомнить ледяной сон, и шторм моих невзгод съезживается до ничтожной ряби на поверхности лужи! Я – в своем мире, мне не надо выбирать между смертью и предательством.

Утром пятого дня крытый двор смотрелся так, что я сама едва верила в результат своих трудов. Пролески покрывали почву сплошным ковром без резких границ цвета, живой узор лепестков мерцал, непрестанно играл оттенками... Упоительно пахло радостью пробуждения зеленой жизни. Выращенные в специальном питомнике мотыльки с ультрамариновыми крылышками то притворялись цветками, то танцевали в солнечном свете, проявляя бледные радуги над тающим льдом... И на скатертях для чаепития намеком замечались шелковые мотыльки, и умопомрачительно дорогой инаньский сервиз оказался точно того цвета, как мечталось, хотя я заказывала, используя телеграф и телефон, при посредничестве двух переводчиков.

Последний раз оглядев двор и почти не дыша, чтобы шум не разрушил хрупкую неурочную весну, я вышла на цыпочках за стеклянные двери. Я твердо знала: на сей раз заказ выполнен по-настоящему! Пролески и под летним солнцем сохранили трепетный, вибрирующей цвет, которым знамениты полотна кисти Дэйни.

За дверьми меня встретила повседневность. По коридору строем – люди в серой униформе с пустыми глазами. Двое поддели меня под локти и относительно вежливо, но слишком быстро, провели через галерею. Выпихнули во двор, навстречу двоим таким же. Эти мигом втолкнули меня в шарабан. Снежок встрепенулся, Яков на передней скамейке с хрустом потянулся... и я была рада обоим.

– Да-да уезжаем, до ночи не появимся – не дав серому открыть рта, заверил Яков. Сунул мне очередной плед и взглядом указал на корзинку с припасами.

Серый лупил пуговицы глаз, и я не могла понять, на Якова он смотрит, на сад сквозь него или вообще – сквозь Якова и сад на невидимый отсюда лес. А, не важно. Конверт солидно хрустит, стоит пошевелиться: его опустили в карман моего платья на выходе из дома. Могу прямо теперь уехать на станцию и далее – в Трежаль. Я устала от секретарей и проверяющих Дюбо, от еженедельных отчетов и мелькающего у горизонта Мергеля с его жаждой затмить «Дюбов вековых»... В душе проклюнувшимся зерном растет ощущение: чем скорее и дальше уберусь, тем лучше. Для кого лучше и чем? Предчувствиям не устраивают допросов.

Но есть еще и жадность! Весомая, как якорь океанского корабля: если наниматель останется доволен, завтра мне вручат благодарственные, и мечта о цветочном магазинчике станет осязаемой.

– Яков, ты уже перебираешься на новое место? Секретари Дюбо вроде всех работников «Первоцвета» рассчитали, – зевнула я.

Пока Снежок не сдвинул шарабан, усталость не существовала. И вдруг – рухнула на плечи, как сугроб, до поры державшийся в сплетении ветвей... Меня знобило и сильно тянуло в сон. Яков взялся плести что-то веселое о новом найме, но быстро притих, нащупал еще один плед и кинул мне.

Снежок выбрался из подсобных ворот имения и побрел в поля, вверх по спине огромного холма, похожего сегодня на кита из сказки. Ведь мне казалось, что горизонт покачивается. И – укачивает... я перестала бороться со сном, обняла колени, закрыла глаза и провалилась в дремоту. Там Снежок тоже брел по дорожке, вот только лежала она меж сезонами: справа в прохладе цвели пролески, слева в жаре летел пух одуванчиков. Надо было выбрать, куда свернуть: в весну или в лето? А я не могла поднять пудовых рук, не справлялась с вожжами...

Когда удалось очнуться, шарабан стоял возле чайного домика. Я узнала место с первого взгляда, прошлым летом сама устраивала тут цветники. Вон и Лилейный пруд: белые кувшинки прижились, успешно зимовали, как я и надеялась.

По солнцу судя, полдень я проспала. Облака плывут редкие, и они тоже —кувшинки. Отражаются в воде. А на берегу столик, плетеные кресла, самоварчик и сияющий Яков, который и здесь сошел за своего. Угощается маковыми плюшками, облизывается на варенье.

Попробовал болтать о пустяках. Увы, снова не сладились. Плюшка мне попала с комочком соли.

Я заплатила за угощение и побрела к шарабану, чувствуя себя невольницей. Отсюда Снежку два часа брести до имения Дюбо, а до станции – все пять, это ж мимо Мергеля! То есть на последний поезд я уже опоздала. Я обречена вернуться за доплатой.

– Конверт торчит из кармана, – буркнул Яков. Не унялся и добавил с нажимом: – Ну что ты за человек! Свое получила, еще загребешь. Не в радость денежка, так хоть покой должна дать, а? Откуда упала тень на такой простой и крепкий плетень?

– Он выпьет чай, и все пролески завянут. Ему развлечение, цветам – казнь. Дрянью-человек этот Дюбо. Вон кувшинки, второй год живут-растут, людям радость дают. А этот заказ... мертвечина сплошная. Тошно.

– Если деньги пощупать, полегчает? – предложил Яков.

Я достала конверт, вынула деньги. Три крупных золотисто-коричневых билета по пятьдесят рублей и остаток мелкими, для удобства. Шуршат солидно. И – не легчает.

– Говорят, деньги жгут кожу, но я не могу согреться от них, – пожаловалась я.

– Большие деньги кой-кому душу начисто выжигают. Я таких видел. Шваль.

– А мне после денег хочется руки мыть, – зачем-то призналась я. – И никакой радости. Яков, я совсем глупая?

– Глупо дрожать и икать от вида денег. Так что ты не глупая, ты странная.

– Утешил...

– Отдай конверт, – вдруг попросил Яков. – Личный именной Дюбо, это для ловкого человека возможность на будущее.

Я отдала, вяло удивляясь тому, как по-разному мы видим вещи. Свернула деньги и сунула в карман.

– Яков, где станешь работать?

– Возле главного двора Дюбо в Луговой есть салон госпожи Пурри, не знаешь о таком? Одни думают, он для музыки и питья вин, иные знают, что возможно купить много чего кроме. Я пока в сомнениях: там неплохой рояль и так себе оплата. Эй, заходи завтра, я ж обещал сыграть. – Яков покосился на меня и отодвинулся по скамейке. – Спрошу прямо. Ну не могу понять, аж голова болит. Ты вообще хоть кого вокруг видишь... мужчиной? Последний раз со мной девочка мило дружила, когда мне было десять. Ну да, люди все разные, и я много чего примечаю. Когда бабское прет, оно удобно мне, оно легко используется. Но когда совсем нет намека на...

– Устала, не желаю вести беседы по душам и по уму, – отмахнулась я. – Одно скажу. Когда рядом нет мамок, дядюшек, троюродни на седьмой воде с киселем... Когда их вовсе нет, остается или одна крайность, или другая. Я работаю в пансионе. Это отчасти определяет ситуацию. Как ты говорил? Следующий вопрос.

– Обиделась.

– Зачем спросил? Скажу «нет» и замолчу, ты же знаешь. Сам ты обиделся. Оно и понятно. Тратишь на меня день, а я зеваю. Неблагодарная, дурно причесанная барышня с мозолями в два слоя. Денежкой не поделилась, только конверт и достался.

– Ага, – согласился Яков, щурясь и улыбаясь широко, в стиле Яна. – Поговорим о цветах, барышня-а. Ткну пальцем в любой на лугу, с тебя история.

Он хитро подмигнул и прицелил ноготь в одуванчик. Я кивнула и принялась медленно и лениво, но постепенно входя во вкус, излагать историю одного из его названий. Смогла вспомнить семь имен простенького цветика, пока Снежок брел через поле. Восьмое, северное, сообщил на прощанье Яков. Спрыгнул с шарабана, махнул рукой – и пошел прочь... Не оглянулся. А я наоборот, смотрела ему вслед долго-долго.

Опять мне больно. Он очень умный, хоть порой и корчит Яна-деревенщину. Как мог спросить, вижу ли я в нем... Разве допустимо начинать такой разговор, не назвавшись настоящим именем? Увы, я знаю о Якове гораздо меньше, чем следовало бы о человеке, с которым каждодневно работала, ехала через лес и даже пила пиво. Сейчас он уходит, превращаясь в мираж. Спросят меня завтра: помнишь Якова? Я кивну, но примет назвать не смогу. У него нет своей манеры смотреть и говорить, потому что у Яна одна, у Якова иная, и обе – маски. Нет и настоящей походки.

Вряд ли я узнаю, кто был на самом деле пианист-налетчик, который мне глянулся сразу, еще на станции... если уж честно. Он – солнышко полуденное. Он наполнил светом мою затененную жизнь. И – ушел, закатился за горизонт. Грустно. Зябко.

Вечер подкрался на кошачьих лапках: ни ветерка – ни людского голоса. Имение Дюбо обезлюдило наглухо. Только кони перефыркивались в стойлах. Первый раз мне пришлось самой распрягать Снежка... И последний тоже, завтра или пешком уйду, или меня подвезут до Луговой, но уж всяко по-казенному, как чужую.

От грусти лечит еда. С этой мыслью я побрела на ближнюю кухню, где тоже оказалось пусто. Никто не мешал взять без спроса всё, что глянется. Окорок, графин с холодным травяным чаем, хлеб, зелень... Могу покушать здесь, за общим столом. И посуду бросить немытой. Ну, это я сгоряча буркнула, пока мыла и расставляла по местам.

Причина тишины яснее ясного: хозяин навестил имение, а кто-то из его близких остался гостить. Я слышала, что важных людей селят в южном пределе. «Пределом» в имении называется группа зданий в стиле средневековья. Выстроены они на насыпном острове. Там и мост, и игрушечные стены с башенками. Затевая гуляния, мост поднимают, делая остров недоступным для посторонних. Обслуга тоже оказывается заперта на острове, и всякие охраняющие-проверяющие – тоже там, на острове и вокруг него. Прочим слугам имения полагается день отдыха. Конечно, охраняется вся внешняя ограда. Но я-то внутри, и у меня есть право остаться тут до завтрашнего полудня.

– Обо мне забыли, – пожаловалась я пузатой бутылки.

Она не ответила. С трезвыми вино не разговаривает, зато пьяных вынуждает выбалтывать тайны, попав в кровь и влияя изнутри. Я погрозила пальцем коварной бутылке и покинула кухню на ощупь. Почему не зажгла свет? От смутного ощущения тревоги: я в чужом доме. Не то чтобы должна прятаться, но и выпячивать свое присутствие неловко.

Сумерки плотно укутали двор и сад. Бреду, спотыкаюсь... и как-то вдруг замираю, испугавшись. Я одна, в целом имении – одна! Никто не помешает пройти в крытый двор и еще раз глянуть на пролески. Не все ведь увяли. А если и все... кто-то должен проводить их, сказать спасибо за мимолетную, но такую совершенную красоту.

Решившись, я осторожно двинулась к цели. При моем зрении, которое и днем не впечатляет, ночные вылазки противопоказаны. Но я старалась не спотыкаться, не охать. Часто замирала, вслушивалась в тишину. И каждый раз слух улучшался, различал звуки полнее, тоньше. Это ободряло.

Вот и квадрат дома, на один день получившего название «Первоцвет». Или так серые и секретари звали не дом, а весь проект? Здесь любят это слово – проект. Не иначе, оно нравится тому Дюбо, который и есть главнейший из многочисленных родичей и ветвей семейства. Особенного: их имя – нарицательное. «Ловок, как Дюбо», – таким комплиментом обозначают деловой успех и в нашей стране, и во многих иных.

Кажется, добралась незаметно. Хотя... От кого прячусь? Дверь черного хода – удобная для тайных визитов в дом. Без крыльца, и стена рядом укутана пушистой порослью сирени. Запах умопомрачительный. Садовник Дюбо – гений, подобрал сорта, чтобы цветение длилось

более месяца. Я выведала, мне такие мелочи в радость. А сейчас мне думать о знакомом – удобно. Мысленно перечисляю сорта и не волнуюсь. Ну, почти.

Уф. Дверь открылась без скрипа, вот что значит порядок в хозяйстве. Пол – зеркальный паркет, и тоже не скрипит. Я сняла башмачки, взяла в левую руку и двинулась по коридору прямо в тонких носках. Паркет был скользкий, я протиралась по стеночке. Поворот. Еще поворот. Вот и главная галерея, по ней меня утром вывели стражи с глазами-пуговками. На полу ковер, могу шагать смело. Хотя чего я боюсь? Наверняка в доме – ни души, если в целой усадьбе пусто и темно.

Стеклянные двери на ощупь очень холодные. Медная ручка... или бронзовая? Откуда мне знать! Массивная и красивая, вот что помню. Открывается без щелчка, но нажать надо плавно, до упора. Нажимаю. Приоткрываю дверь...

Днем я сказала Якову это слово – «мертвечина». Но разве знала, что ночью замру на пороге в каменном, страшном оцепенении? Разве могла представить подобное?

Черный ковер пролесков. Окончательно мертвых: подобный запах идет от ваз со срезанными цветами, если долго не менять воду. Только здесь сгнил не один букет... Весь двор – склизкая, мерзкая гниль. Решись я тронуть любой стебель, он расплзется под пальцами.

– Почему? – едва слышно выдохнула я. Навалилась на дверь, плотно ее закрыла и без сил сникла у порога. Стекло холодит лопатки. Мысли в голове смерзаются в ком страха. Почему?! Прошло всего несколько часов. Крыша по-прежнему сдвинута, во дворе так холодно, словно зима вернулась. Лед не вынесли, сквозь щель под дверью в коридор вытекает студеной сквозняк. Пальцы на дверном стекле мерзнут, и само оно – заиндевелое... Я одновременно потею и стыну. Сердце лупит, как бешеное, а на душе – лед. Там, за стеклом – непостижимая жуть. Уродливая, чудовищная тайна...

Обнимаю колени, дрожу и жду, когда полегчает. Почему они погибли? Укорененные пролески сгнили в неполный день. Будь я суеверна, сказала бы: сработало проклятие. Но я предпочитаю рациональные объяснения. Прямо теперь готово одно: отсюда надо убираться, немедленно! Из-за тайны гнилого двора слуг отпустили на отдых, а вернее – выдворили из имения. Никому не полагается знать о гибели цветов.

Надо уходить, а я сижу. Сил нет. Холод вот-вот сердце остановит, оно билось вскачь, а теперь еле трепыхается. Очень больно. Ложусь, сворачиваюсь в калачик и терплю. Скрипы и шорохи сами вползают в уши, вроде мерзких муравьев. Досадую: слух чересчур остр, это тоже больно. Хотя – от страха и не такое приключается.

Голоса! Да, именно так. По диагонали от меня, на втором этаже квадратного особняка, в другом его конце, разговаривают. Двое? Замираю, жмурюсь и не дышу.

– Что по второй части проекта?

– Прямых признаков не выявлено в поведении и реакциях. Косвенные можно списать на необщительность и пустые страхи. По первому параграфу больше определенности. Да, годится в резерв, но возрастное ограничение двадцать, как вы знаете.

– Решено, в тихий резерв. Что по косвенным целям?

– Наши курьеры планомерно выказывали неосторожность и провоцировали интерес к сведениям, хранимым в имении. Факты ответного внимания выявлены в Трежале... но вы знаете, там Медвежатник сыском заведует. Мы потеряли пятерых из агентуры и еле сбросили хвост. По Луговой больше ясности. Дважды мы отслеживали чужих наблюдателей. Связи и люди взяты на контроль.

– Чьи люди?

– Найзеры, тайная полиция... можно сказать, ничего занятного.

– Что по второму типу активности?

– Нет наблюдателей и интереса, – голос стал тише, слова подбирались с очевидной даже мне осторожностью. – Нет активности... совершенно.

– Либо её успешно маскируют. Все люди имения проверены?
– Повторно запрошены данные по всем без исключения, с вниманием к временным работникам, конечно. По одному из них еще идет проверка.
– Проект закрыт. Если завтра не будет ясности, устраните подозрение. Полностью.
– Можно ли не спешить? Он перспективен. По типу – кукушонок, но документы не подтверждают происхождение. По навыкам – вор, но ничего не украдено. Имел доступ только в сад. Ночевал во внешнем периметре. Для агента он вел себя слишком нагло и шумно. Пил, дрался, попал под подозрение жандармерии.

– Сейфы, личные секретеры?
– Нет признаков вскрытия. Но, – говоривший замялся. – Царапина. Управляющий вероятно сам... но не подтверждено. Если бы пропало что-то явное, я бы решил, что...
– Нет времени решать. Охота провалена, и причины неизвестны. Тем самым сорван весь вторичный проект. Нам велено свернуть активность, – отчеканил второй голос. – Завтра, это край. Или закроете проверку, или устраните неопределённость. По управляющему тоже. Не первая его ошибка. Команда приборки будет здесь к утру. С «Первоцветом» они закончат до полудня. Далее используйте их под зачистку.

– Понял вас. По новым проектам. Большая лисья охота и фейерверки в самую короткую ночь. Вот списки приглашенных. Это дневная версия.
– Так... вот этот бриф по курьерам, он что, хранился в сейфе, здесь?
– Нет. Нет, как можно.
– Вернемся к проваленной охоте. Псарей собрали, всех?
– Да. Следим, чтобы не общались до опроса. Они на острове. Дятлы там же.

Голоса смолкли. Не сомневаюсь: властные люди спускаются, но мягкие ковры глотают шум шагов. Эти люди не используют черный ход, от парадного я далеко, так что до поры лучше не двигаться и дышать еле-еле. Иначе и меня – устроят.

Пялюсь слепыми в темноте глазами куда-то в ковер... или в стену галереи над плинтусом? От жути происходящего зрение окончательно померкло. Лежать на боку нельзя, я вся окоченела. Перекатываюсь на колени и локти... и меня, как старушку, прострелом скрючивает в нелепой, напряженной позе на четвереньках.

Спина заныла, руки подломились... Опять я на ковре, боком. Дышу открытым ртом, стараясь подавить рвущийся наружу вой. Никогда так страшно не было! Давно лежу тут, слишком давно... Как скоро явится команда приборки? Не знаю. Не хочу знать! Но уползти мне надо, не сминая ковер, не чиркая по паркету башмаками, намертво зажатыми в руке. Тут, оказывается, все царапины на учете.

Дом позади. Ноги дрожат, мерзну... Крадусь через парк и не верю, что доберусь до своей комнатки, разминувшись с кошмарными «приборщиками» Дюбо. С людьми, а не привидениями или одержимыми из храмовых баек. Люди – страшнее. Теперь я знаю.

Даже подпирая спиной дверь, не верю, что добралась. Сердце птицей трепыхается в ловчей сети страха. Сползаю по двери спиной и жду, когда смогу двигаться. Встать. Бестолково обшарить комнату и подпереть дверь черенком метлы. Задернуть занавески... Все бесполезно, но отгородиться от страхов я могу лишь так. Осталось свернуться клубом на узкой кровати, накрыться с головой...

Только это – не конец истории. Это в какой-то мере начало. Я слышала то, что слышала и видела то, что видела! Я не могу забыть. «Охота» – что это слово значит для Дюбо? Я одна и знаю ответ: облава на выползка Якова! Теперь знаю, в охоте были не только собаки, имелись загадочные дятлы, псари... не знаю, кто такие, но следом за ними пришли «приборщики». Они сотрут все следы. Любой ценой.

Так каков настоящий смысл проекта «Первоцвет»? Куда я нанялась, на что дала согласие? Уж точно пролески высажены не ради забавы богатого бездельника. Они были... ширмой.

Наверное – так... Они позволяли копать лед, возить туда-сюда тюки и мешки, нанимать временных работников и проверять их, выискивая агентов. Зачем?!

Мысли заглушили страх, вернее, взболтали в голове мутную пену паники, и я перестала понимать и ощущать внятно хоть что-то. Отбросила одеяло, села, пошарила по столику и сжала в кулаке случайный сухарь. Сунула в зубы – каменный, не крошится! Поднажала... и захрустело во всю голову! То ли зубы ломались, то ли страх грохотал в ушах и слезами заливал перекосенное лицо. Я узнала один из голосов: это был столичный проверяющий. А второй наверняка здешний, хотя мне и не знаком. Звучание приметное, с задержкой в начале фраз, вроде намек на заикание... Этот вот заика и займется приборкой. И я знаю, что он скажет убийцам после полудня. Почти дословно знаю. Я сплюнула сухарь, подышала открытым ртом...

– Кукушонок, – горло хрипело, язык едва шевелился.

Меня согнуло пополам... пришлось ползти в угол, искать хоть что годное. Темно, нащупалось лишь полотенце. В него меня и вывернуло – сплошной желчью. Горло горит, боль поднимается из живота, затапливает сознание. Тьма кругом. Тьма и безнадега.

Яков сам сказал, что жил на севере. Мергелю он не глянулся, а после проверки оказалось, – на нем судимость. Так все просто, напояк... как чемодан без ручки и случайность найма в дом Дюбо. Если припомнить наши разговоры, то и они не просты. Взять тот ужин в «Ерше»: я захмелела с одной кружки пива, а он спрашивал, спрашивал...

Он использовал меня с самого первого мгновения. Даже не скрывал своих намерений, вот только у его искренности имелось второе дно, а то и третье. Злодей. Вижу ли я нем не друга, а чуть больше? Да как он мог!

– Дрянь. Грязь.

Удобные слова. На плевки похожи. И – короткие, длинных мне не выговорить... Руки ледяные. Я целиком вмерзла в страх. Я слабая и совсем одна. Мне ничего не изменить. Даже не знаю, где искать Якова, чтобы предупредить. И никак нельзя выйти из имения незаметно. Ночью – просто нельзя. Поздно. Все...

– Н-ни... ни-чего. Не могу. Нет.

От сказанного легче не стало. Пришлось заползти под одеяло и свернуться клубком, надеясь согреться, взбодрить тупой мозг. Мне бы сухарь... Увы, первый я смахнула на пол, а второго не нашлось. До самого рассвета голова моя работала пустым щелкунчиком – стучала зубами, как заводная. Я прикусила было край одеяла, но от шерсти подташнивало... пришлось выплюнуть.

Утром я встала, переоделась, причесалась. Открыла окно и посмотрела в небо. Это последнее средство. Если и оно не сработает... Во тьме сияла золотая нить тумана, вдетая в игольное ушко солнца. Пока что игла рассвета оставалась по макушку утопленной в сосновый лес на дальней горюшке. Было свежо и холодно. Птицы перекликались дружно, шумно. Мелкие садовые рядом, более солидные – по-над полем. Впервые с весны кукушка орала в дальнем лесу, безразлично считая чьи-то годы.

– В суп тебя! – прокляла я безответственную птичью мать.

Зажмурилась... еще раз взглянула в небо. Кукушка не унималась, и я была ей благодарна за тупое жизнелюбие. Больше-то некому подбодрить меня.

Если не делать ничего, после полудня Яков умрет. Наверняка... Но как далеко можно и нужно зайти, пробуя спасти человека, лживого до сердцевины? И все ли средства хороши? На мои вопросы мог бы ответить выползок, он умный и взрослый. Он много знает о том, как спастись и спасти.

– Я справлюсь.

Это ложь. Знаю, но говорю вслух, чтобы не передумать. Я решила. Даже если мой способ ненадежный и подлый... даже так. Иного нет.

С пустой корзинкой я прошла через сад к сараю. В мусоре у двери отыскала три кружки с отбитыми ручками – даже работники бросили эту копеечную глину. В две кружки я пристроила рассаду красиво, в третью сунула нарочито криво. Все кружки уместила в корзину, и последнюю боком – устала быть аккуратной. Накрыла весь мусор заранее приготовленной салфеткой. На миг задержалась, понимая примитивность затеи... Вздохнула и бегом ринулась выполнять замысел, пока я хоть немного в него верю.

Само собой, у ворот спросили, куда иду. Строго напомнили: мое время в имении иссякает в полдень. Я показала рассаду: несу подарок Мергелю и вернусь быстро. Не удивились. Не запретили. И я заспешила по дорожке к Луговой.

От мысли, что за мной, может статься, следят, сводило шею. Яков говорил, что актерствовать мне не дано. Прав. А только выбора не осталось. На моей стороне страх и стыд. То, что я затеяла, уже выбелило лицо, выгнало пот на лоб. Играть не надо. Мне бы раньше срока не рухнуть в истерику. Она вроде болота, увязну – и уже не выберусь на тропку разума, уж слишком она кривая и скользкая.

Ноги подламываются, а веса в теле нет. Сквозь тошноту не могу понять, тяжело или легко мне, душно или холодно. Все сразу! Все – и сразу... Бреду-плыву мимо двора Дюбо в Луговой, мимо нового места найма Якова. Вот кивнула знакомому грузчику, передала привет Киру Силычу и пошла дальше. Задержалась, осмотрела крыльцо салона Пурри. Подергала дверь – заперто. В это время в салоне должно быть тише тихого.

Я сникла на ступеньку крыльца, немного посидела, настороженно кося вправо-влево и опасаясь крутить шеей. Как эти, которые следят, умудряются видеть все? Прямо сейчас они приглядывают за мной? Или я птица мелкая, ничуть не ценная, ведь проект – закрыт? На это вся надежда!

Отдышавшись, я побродила вдоль фасада салона Пурри, бестолково заглядывая в окна, трогая ветки сирени, негромко окликая Якова. Никто не отозвался. Я дважды нагибалась и ворошила цветы на клумбах, но, надеюсь, это не выглядело странно. Так или иначе, дело сделано.

Я поправила платок на легкой корзинке и решительно выпрямилась. Пора делать главную глупость. Или подлость? Это как посмотреть. Снова шагаю по улице. Корзина стала легче, но я ощущаю обратное. Груз вины в неё добавился, он тянет руку.

Мергель дома. Я поняла это, едва завидев дымок самовара и, почти сразу, приметив здоровенных городских у ворот. Стало совсем страшно: план уже не отменить, все сложилось... я обречённо кашлянула, подавилась всхлипом и побрела на казнь.

Наипервейший тараканище Луговой высунулся в щель двери, заготовил улыбочку... которая вмиг сползла с его лица. Мергель домчался до ворот, будто ему на самом деле не безразличны мои беды...

– Юлька, во что вляпалась, дурища? – спросил с ходу.

Хорошо: мне не пришлось врать, зачем пришла. Просто махнула свободной рукой, сунула ему корзинку и зарыдала, не мешая себе тонуть в болоте отчаяния.

– Говорили же, если что... по опушке, то да сё, – упрекнула я через всхлипы.

– Так, – Мергель вдруг забыл свою ломанную речь. – Дальше давай, толком. По одеже видать, ущерба личности нет. Значит, имущество. День-то расчетный.

Я кивнула, не желая врать вслух. Не знаю, смогла бы или нет. Он кивнул ответно и по всему видно – озлился.

– Кто знал, что деньги тебе дадены? Кто видел их? Был ли тот, кто просил показать или желал пересчитать самолично?

Я всхлипнула с надрывом, попробовала выговорить вранье... не смогла. Но этого и не требовалось. Мергель резко отвернулся, все решив без моих слов. Глянул на ближнего жандарма-здоровяка.

– Чернявый хорек, я велел приглядывать за ним. Иди, повяжи его и закрой в приказе. Не один, ребят возьми. Он жилистый и хваткий. – Мергель глянул на второго подручного. – Песика доставь. Эй, Юлька, есть у тебя вещь хорька? Ты ж вслух на человека поклеп высказать не сможешь, но ума-то в тебе с башкой вровень. Значит, должна приволочь хоть что.

– Перчатки рабочие.

Я ткнула пальцем в корзинку. Мергель бережно подвинул последнюю кружку с рассадой и добыл со дна то, что ему и требовалось. Похвалил, что припрятала. Спросил, не учинила ли я шума в имении и остался совсем доволен тем, что я ушла тихо.

– Мой городок, хоть и зовется он то селом, то поселком, то станцией, – Мергель подбоchenился и оскалил мелкие острые зубы в ухмылке. – Мой он, как ни обзывай! А кой-кому вроде и помнить не надобно? Будет им вразумленьице. Самый день, вот удружила, Юлька... Ужо я знаю, что за гнилота у них под спудом, ужо тряхну червивую яблоньку. Не бойсь, не мог он извести денег. Умен, сразу б не пустил по ветру. В ночь припрятал, но вряд ли ловко. Пригляд за ним, я знаю, он тем более. Скинул в палисаде или в дровнике. Юлька, не вой. С какой дури из тебя баба поперла прям теперечи, ась?

Я выла, понимая, что ничего уже нельзя отменить. Мало мне стыда и страха, так в голову острым ножом вошла идея: ночью я ничего не слышала! Причудилось от усталости. Разве посильно услышать то, что сказано на другом этаже, в закрытой комнате? Я зарыдала пуще прежнего, стала просить не искать деньги и вообще ничего не делать, Мергель захохотал и посоветовал уйти в монашки и славить божий промысел, сидя на хлебе-воде.

А дело – двигалось. Как-то вдруг я осознала, что сижу в казенном экипаже рядом с Мергелем. Держу в кулаке измятые, запачканные в земле деньги и тупо на них пялюсь, повторяя, что три было бумажки по пятьдесят и еще мелочь. Опять и опять повторяю. Не иначе, с ума сошла. Мергель пожалел, воды дал и обругал икающей нюней. Не будь мне так дурно, я бы засмеялась: сколько он ведаёт черных слов, а для меня нашел необходимые.

В воротах имения Дюбо нас ждали люди в серой форме. Вид имели такой, будто войну начинают. Вдруг я осознала новый страх. И семья Дюбо, и многие их слуги – не наши граждане, иноземцы. Мергель бестрепетно лезет вымогать гостинец у чужаков, которые до того богаты, что сами – почти сказка. А луговскому таракану не страшно. Весело ему! Я и не подозревала в нем лихости, лишь теперь рассмотрела: он похож на Яна-Якова. Такой же двуличный звонец, вот только гораздо опытнее и хитрее.

В полдень Мергель и я снова сидели в экипаже. Мергель всем видом лоснился, будто он – обожравшийся дармовой сметаны кот. Я дрожала и мямлила невыразительное: мол, отпустите Якова, дайте честное слово не бить, вы ж с его дела получили выгоду.

Мергель получил, а вот я – наоборот. При выезде из имения нас ждал казенный злодей из столичного дома Дюбо. Показал мне издали конверт и резко порвал пополам, еще раз пополам. Не сомневаюсь, внутри был чек.

– Кто вынес сор, тот сам есть сор, – так он озвучил решение относительно меня. – Барышня, впредь вам заказан вход в любые имения Дюбо и партнеров семьи.

Я кивнула и отвернулась. На душе стало легче. Так и так я бы не смогла взять у него деньги. Он хуже ночного татя, он убийства устраивает – как иные обеденное меню. Буднично и ловко: этого на первое, а того на второе и с кровью, а во-он этого десертом, припугнуть или изуродовать...

– Юлька, держи, за пиён с лианою, – Мергель вдруг сунул мне в кулак две полусотенные бумажки. Скривился, пожимая плечами: – Знатная выгода мне встала с дельца. И вот чего, ты не сопи. Не прибьют хорька. В арестантский вагон сей же день сунут, чтоб прямым ходом в столицу. Знаю я крыс Дюбовских, как ни береги злодея, а чем дальше отсель, тем дольше

продышит. Я к чему? А вот: отвезу тебя до станции, на поезд посажу. Юлька, тепереча год тебе в Луговую – ни-ни. Ясно?

– Спасибо. Я бы не посмела просить о таком, а ведь мне и правда страшно.

– Бойся-бойся, дольше проживешь, – согласился Мергель.

Я вздохнула чуть увереннее, один большой страх Мергель с меня снял. Так и виделось: иду я через лес... и не дохожу до станции. Говорить о том я не могла, лишь стискивала челюсти и сглатывала солоновато-железную слюну. Мергель хмурился, думал о своем и тоже молчал. Только раз буркнул, что надо бы заехать в приказ.

Там я увидела Якова. Его провели через двор. Он сделал вид, что не узнает меня, но, минуя дверцу экипажа, поморщился, чуть задержался, глядя вдаль. И сплюнул.

До плевка в душе у меня была – помойка, а после... Упрямая кукушка по-прежнему голосила в лесу. Всю дорогу до станции я пыталась считать её «ку-ку», и постоянно сбивалась, и думала: это годы жизни для Якова. Не знаю, на что способны «дюбовские», но глотку кукушке они не заткнули, и, может статься, её обещание сбудется для кукушонка.

Это должно было утешить... но чернота с души не оттиралась никакими доводами рассудка.

Проклятие кукушки. Сказка таежного народа ёманхэ

Однажды ворон, глухарь и пересмешиник взялись судить кукушку.

«Ты худшая мать во всем лесу, ты бросаешь своих детей и обрекаешь чужих. Ты бессовестная и бездушная»... так они говорили. И весь лес слушал молча, и весь лес своим молчанием – обвинял и соглашался.

Кукушка дождалась, покуда судьбы высказались. И после еще долго вздыхала и думала о своем...

– Вы знаете причину, – наконец, ответила она. – Только я могу победить великое зло – чернух гусениц, иссушающих лес. Бороться с ними каждую весну – мой долг... но гусеницы ядовиты, выкормить ими дитя нельзя. Так может, мне жить для себя, не замечая лесную погибель? Может, стать хорошей матерью такой вот ценой?

– Нет уж! Вот уж! Жуть-жуть! – перепугалась старая пищуха. Она помнила страшный год, когда кукушка растила дитя самостоятельно. Лес оказался заплетен паутиной, и не было ни единого зеленого листка! Погибли все дети, во всех гнездах – когда лес высох, вспыхнул большой пожар.

– Нет-нет-нет! – застучал дятел. Он был глуп и ничего не помнил, но повторял за пищухой звучно, охотно.

– Спа-си, спа-си-нас, – заволновались синицы.

И весь лес зашумел, уговаривая кукушку...

– Ку-ку, ку-да деться от долгов? Беда, беда, я много могу и много должна. Я выкликаю года и продлеваю жизнь деревьям, птицам, зверям, – кукушка заплакала, и трое судий виновато спрятали головы под крыло. – Ку-ку... сердце рву, отдаю дитя в чужой дом. Больно, ох больно... кукую, благодать зову для тех, кто растит мое дитя. Их желание исполняется. Одно, заветное. Разве не так?

– Так-так так! – прострекотал дятел.

– Ум-но, вер-но, у-гу, – зашумели совы.

Кукушка расправила крылья и гордо вскинула голову.

– Почему вы не просили для своих детей, о птицы? Почему не сказали: желаю всей душой вырастить и приемшиа, и родного? – Кукушка гневно встопорщила хвост. – Ты, ворон, пожелал стать белее снега. Ты, глухарь, пожелал себе безупречный слух, чтобы собирать сплетни скорее и точнее глазастой сороки! Ты, пересмешиник, обрёл голос краше соловьиного... Никто из вас не просил для детей! Но вы судите меня так, будто я убила ваших птенцов? А сами-то!

– Са-ми! Са-ми! – запищала возмущенная пищуха. – Суд им! Суд им!

Кукушка нахохлилась, задумалась... и все молча ждали ее решения.

– Бесполезна моя щедрость. Заветное желание – слишком богатый дар. Кто ищет в нем выгоду, сам не лучше черной гусеницы. Кто не ценит семью... тот высохнет. Гнездо не сбережет! Потеряет все и тогда поймет, что было в жизни главным. Но ничего не сможет отменить...

Сказала – и улетела. В тот же миг ворон почернел. Глухарь – оглох. Пересмешиник сделался обречен повторять чужие песни, не имея своей, даже простенькой.

А кукушка все так же борется с черными гусеницами. И плачет, не в силах принять свой удел. Год за годом, снова и снова... лето греется,

птицы по гнездам сидят – а она безутешна. Пестрая птица, лесу первая защитница... Она исполняет желания – и она же проклинает, если желания ложные.

Глава 2. Кукушонок

Внутреннее распоряжение по столичному тайному сыску. Клим Еришов, советник

«Если еще хоть одна тупая сыскная рожка поучаствует в травле выползков, за тупость и будет уволена с волчьим билетом! У нас сыск, господа, здесь требуются трезвые люди с холодной головой, а не кровожадные недоноски. Список недоносков этой весны прилагаю. Все – вон, побирайтесь при храме, коль вам он так мил.

По делу. От групп с третьей по пятую жду полного отчёта по выползкам. Сколько случаев близ столицы, сколько живых поймано и куда после они переданы. Ведь ни один не очутился в жандармерии или тайной полиции! Это угроза, господа. Всякий тайный интерес – угроза, если я, даже я, не ведаю его выгодоприобретателей.

Укажу для ясности. Есть основания думать, что дом Дюбо в деле. Отчет единственного сыскаря с головой доступен для изучения всем с пятым допуском и выше. Ему награда и честь, вам – повод задуматься. Пока же приказываю проверить имена Дюбо и связи их партнеров. Тайно, тихо, впрок.

Особая группа. Ко мне на стол все сведения по выползкам. Систематизировать. Не убирать странное и сомнительное, если оно повторяется. Обдумать награду за живого беся, если его сдадут в жандармерию или сыск.

Наблюдение! Вам как обычно по весне: всех, кто прямо замешан в убийстве выползков, под надзор. Один раз кровь пустили и не наказаны – повторяют.

А будут к вам вопросы у служителей храма, посылайте всех ко мне. Далее я сам укажу им дорогу».

Арестантский вагон – место, внушающее веру в мировую устойчивость. На таежных болотах, посреди пыльной степи, близ столицы – всюду такой крысятник имеет одинаково затхлый запах, наполненный колючей настороженностью.

За спиной Якова – в последние годы он использовал именно это имя, мысленно называя себя – лязгнул засов. Привычное к полумраку местное население оживилось. «Крысы» зашуршали по углам, сухо и остро блеснули взглядами, многозначительно кашлянули. Кто-то расторопный подsunул ногу, чтоб чужак споткнулся. Для крысятника такая проверка и забава, и правило: помогает узнать сразу, какой тварюшкой предстоит пообедать... если тот, кого посадили – пища, а не едок.

Далеко, в голове поезда, раздраженно закричал паровоз. Можно подумать, выругался: не было в его расписании стоянки на Луговой, но пришлось задержаться. Скрипнул металл сцепок, вагоны, как заправские арестанты, дернулись, влекомые подневольно... Первичное движение прокатилось нестройной дрожью.

Обитатели арестантской клетки, которые стояли в этот момент, предпочли сесть, а сидевшие облокотились об пол или стенку. Все отвлеклись, пусть самую малость... Яков перешагнул преграду босой ноги, скользнул вплотную мимо многих локтей, коленей, боков... и без помех проследовал к здешнему главному человеку. Его видно сразу, если уметь смотреть. Вон он, просторно устроился у стены – пожилой, худощавый, то ли дремлет, то ли бережет гноящиеся глаза, которым неприятен свет, недавно так ярко блеснувший в приоткрытой двери.

– Поклон от дальней Гими, – дойдя до выбранного места, новый в вагоне человек поклонился не особенно низко, но и не мелко, чтобы старший оценил уважение.

– Именно что дальней, – старший оказался незаносчивым, глянул искоса, а заговорил прямо, не делая вид, что общается с кем-то из сидящих рядом, игнорируя чужака. – А положим, откуда сказался, оттуда и явился. Так чего ж руки заняты?

Вопрос по существу: кто бьет поклон от Гими, должен разбираться с замками. С любыми, в общем-то, тем более – простенькими, какие ставят на оковы с длинной цепью, а не на номерные, где цепь в два звена и шипы по внутреннему ободу на винтах, чтобы зажимать запястья плотно, до крови...

Замок пришлось вскрыть, хотя всякий навык лучше прятать, пока возможно.

– Вроде не подмастерье, – старший отметил скорость работы. – Что ж сунулся под Мергеля? Не вызнал, каков он? Сюда присядь. Обскажи, что да как.

Поезд споро стучал походный ритм, вагон покачивался. Якову мельком подумалось: по какой же внезапной доброте Мергель расстарался, срочно впихнул ненавистного «хорька» в состав, следующий без остановок до главного вокзала? Исключил многие неприятности: в вагоне подготовиться и ждать не могли... Но после слов «Что да как?» спина ощутила незащищенность. Старший желал вызнать о новом человеке, а то и проверить его. Странно. Вагон пересыльный, люди сплошь случайные, их сгребли из разных мест, по разным причинам. Время задержки в Луговой – минута. Заранее никто бы не оповестил о своем интересе. Да и не было его, интереса! Еще вчера определенно не было... Однако сегодня все иначе. Конвоиры передали указание в клетку. Кто-то составил записку, дал денег... «Что-то я упустил», – мелькнуло в сознании.

– Звать можно Яковом, – давно выбранное имя отчего-то разозлило. – А прочее... уж извиняйте. Попал сюда безвинно, по злобе людской. Не о чем рассказывать.

– Не вина важна, а умысел. – Старший глянул на стену вагона, то есть вроде бы сквозь неё. – Есть неприкасаемые. Липские, Найзер, Ин Тарри, Дюбо, Кряжевы... этих нельзя не знать. У них или своя рука, или договор в столице. Шепнули, ты к таким и сунулся, не уважив закон.

– А что, можно сунуться к *таким*, – прищур Якова сделался узким, а словцо «таким» пожелало повториться с особенной, напевной интонацией раздражения, – и после дойти до вагона? На своих ногах, при своих руках... Вы, уважаемый, мудры. Я по рыжью обучен, мне в большую пользу совет. У *таких* рыжья – как грязи.

– Ну-ну, – старший отвернулся и заговорил со смуглым бугаем, сидящим от него по левую руку. – Вертлявый он, а? На прямой интерес не вернул и малого намека.

Ссидить досаду незаметно даже Якову, даже при его привычке к крысятникам, оказалось сложновато. Больше нет сомнений, кто-то проявил интерес, и наверняка это человек из имения Дюбо. Нет, вопрос стоит острее: старшему велели проверить чужака – или же устранить? Большая разница. Жизненная.

– Мой учитель, – Яков усмехнулся, сполна ощущая себя прежним, каким он был лет пять назад, пока жил проще и злее, – не ходил без заточки, запоминал встречных и попутных, проверял отражения в стеклах... и тянул время, оценивая врагов. Яков-пацан полагал врагами всех. В этом вагоне, впрочем, опасны лишь пятеро, их и стоит изучить, продолжая бесполезный рассказ. – Имя моего учителя Ныдпу. Странное для здешних мест, да. Для меня учитель при жизни был первым из старших, это неизменно поныне. Ныдпу велел не служить рыжью и не верить слову, убитому начертанием на казенной бумаге. Не болтать лишнего. По его завету я вежливо выслушал вас и искренне ответил. На этом все.

Правее шевельнулись в тених трое. Выказали готовность действовать, но старший не подал знака. Остались незадаанными какие-то вопросы... или он не любит спешку? Все же он – вор, и Дюбо ему никак не хозяева.

– Какое падение нравов, влезает младенец и сходу принимается драть горло, обучая нас закону, – старший покачал головой, снова обращаясь к бугаю. – Нехорошо.

Смуглый бугай почти успел раскрыть рот, чтобы поддакнуть...

– Зато не твякаю по приказу Дюбо, не бегаю в их своре, не гну закон им в угоду, – внятно, с расстановкой, выговорил Яков.

– Нарываешься? – старший удивился, даже оглянулся на наглеца.

– Еще как, – улыбнулся Яков.

– Жизнь не ценишь?

– Уважаемый, только-то и надо было перекантоваться часа два, в столице вам в пере-
сылную, мне к дознавателям. Я поклонился, назвал и собирался вздремнуть. Но вы поже-
лали увидеть мой навык. Я показал. Вы не унялись и теперь хотите оценить мою жизнь? Воля
ваша. Оценивайте, я поучаствую.

Поезд чеканил спорый ритм, и это было весело. Решать дела силой всегда интересно. Ныдпу ругал за лихость. Все учителя до него и после называли это свойство гонором, склон-
ностью к насилию, импульсивностью... Слова зависели от уровня образования и манер, смысл
не менялся. Ответное мнение Якова – тоже: решения силы ему неизменно удавались, ведь
жизнь всё еще не пресеклась.

Старший сделал невнятный жест, трое справа зашевелились, бугай слева заворочался,
все стали обмениваясь знаками с сообщником за спиной чужака.

– Ныдпу... – проскрипел голосок из тени в углу. – Неужто сам Слиток? Как же,
как же, был у старого кукушонок. Помнится, он сам и обещал прирезать желторотого поганца.
Но боялся не успеть прежде прочих. Я все гадал, с чего бы? Не думал, что однажды ответ обо-
значится. Резкий ты. Своего гнезда нет, так в чужом-то не буянь.

Потеряв интерес к старшему, Яков вскинулся, в пять шагов пересёк клетку и упал
на колени перед стариком. Разгреб тряпье, ощупал сплошные колодки, шипы на запястьях
и шее. Гнилью пахло сильно и опасно: слишком долго ржавое железо впивалось в тело, нанося
раны, растравливая язвы и нарывы. И никакого лечения, ни малейшей помощи.

– Смерть чую. Хочу подышать напоследок там, снаружи, – то ли приказал, то ли попросил
старик. – Ты подлинный кукушонок, одно-то желание исполнишь, если главное.

В вагоне кто-то один икнул, другой выругался, третий зашептал губами, на выдохе...
и стало тихо. Старший сглотнул, наверняка припомнив байку северных каторжан: мол, встре-
тишь лесного кукушонка, все станет возможно, если фишка ляжет.

– Ворон, он исполняет желания? Без начуди? – старший отбросил прежний ленивый
тон. – Не томи, обскажи дельно.

– Нет. То есть да, но в полную силу лишь один раз. Этот уже сработал для кого-то. Давно.
Еще до встречи со Слитком. Но мне даст мой день. Один. Последний. Душа чует свободу, ей
светло.

– Дам, – эхом отозвался Яков, примечая в своей душе ответную горячую уверенность.

Руки сразу нашупали, добыли и прокрутили в пальцах отмычку, годную и как шило, и как
малый рычаг. Полные колодки – штука сложная. Вскрыть такие в вагоне почти невозможно.
То есть даже совсем никак нельзя... но пять лет назад он уже проделывал подобное. Тогда
учителя пообещали освободить, он поставил такое условие, соглашаясь на договор с тайной
полицией. Но было поздно. Все поздно и все – зря...

Кукушат называют проклятыми. Их сторонятся все, кто знает настоящие особенности
дара. Яков долго упрямился, старался не верить в свой рок, ведь и без того не сладко расти
при мачехе, нежеланным приемным в новой семье отца. Но жизнь снова и снова убеждала:
мир несправедлив, благие пожелания иссыхают, а проклятия копят и липнут одно к другому.
С детства было так, стоило привязаться к кому-то, и эти люди пропадали из жизни, причем
всегда болезненно – через предательство, смерть, разлуку.

– Дык ить же... – запутавшись и отстав от общих дел и мыслей, забубнил смуглый бугай, и от его тупости отмахнулись в несколько рук.

– Мне дела нет, что наплел про него огрызок Дюбо, – сварливо выдохнул старик. – Хочу умереть на воле. Точка.

– Старый вы, а все равно неумный, – упрекнул Яков, рывком расшатывая вторую заклепку и радуясь, что первая снялась легко. Для третьей пришлось добыть из-под каблука еще одно шильце и плашку с плоской лопаткой. – Надо хотеть жить. Путь всего лишь день. Учитель так сказал.

– Он-то прожил свой день?

Яков кивнул, в пятый раз поддел упрямую заклепку, которая выворачивалась и норовила нерушимо сесть по месту. Губы кривились и шипели ругательства в адрес тех, кто изготовил кандалы слишком усердно. А глаза уже успели рассмотреть татуировки старика. В них читалось много разного – каторга в худших болотах далеко за Гимью, два побега, чьи-то смерти... Сейчас все неважно. Учитель тоже был много в чем виновен, а только никого иного Яков не считал отцом, второй раз сбежав из дома. Как было простить кровного папашу, если он заботливо растил своего кукушонка на продажу? В день сделки и стало ясно: старшего сына в доме нехотя и напоказ называли родным, чтобы не сбежал, не додумался сам продать свой дар – исполнение одного заветного желания заказчика.

– Тут бы придержать и расшатать, – пробормотал Яков.

Он не рассчитывая на помощь, но кто-то сунул в щель нож, уперся, сопя и стараясь. Еще кто-то выполнил новое указание. И еще... Когда челюсти колодок распались и со стуком легли на пол, вагон слитно охнул.

– Семнадцать минут, – старший звучно захлопнул крышку хронометра. – Да уж. Если б ты желал получить в Луговой рыжье, давно б получил и был таков. Пустой по тебе вопрос. Иное странно: нет слуха о тебе, нет у тебя прозвища.

– Я не у дел, – стирая пот и неприметными движениями раскладывая мелочь по тайникам, выдохнул Яков. – Такое было желание учителя. Последнее.

– То есть исполняешь именно последнее, строго одно, – заинтересовался старший. – В тебе дар от мамки-кукушки?

– Не дар, а проклятие. Иногда срабатывает. Я знаю, если что-то могу изменить. Делается больно и горячо тут, – Яков постучал себя по левой ключице. – Когда родной отец продал меня, я отказался от него и обещал забыть имя. Так желание, высказанное им, стало последним и сбылось. Самое подлое в деле то, что сбылось не мое желание. Жизнь состоит из подстав и ловушек. А вы спрашиваете, ценю ли я её, уважаемый. С чего бы?

Яков жестом попросил бугая подставить спину, прыгнул ему на плечи, принялся ощупывать и обстукивать потолок, ругаясь на занозы. Арестантская железная клетка помещена в вагон и изнутри обшита досками. Это всем известно, и потому бежать пробуют редко: времени мало, да и охрана рядом. Но, если знать слабые места и иметь при себе хотя бы малый набор инструмента и толковый навык...

– Узковато, – упираясь, как велено, и помогая чуть выгнуть два прута, предположил здоровяк, один из тех, кого Яков недавно счел опасными.

Сейчас прежние оценки утратили силу. Кукушонок благодарно кивнул и на выдохе юркнул в щель, ребра протискивались с отчетливыми щелчками... на миг стало страшно: зажмет! Но – обошлось. Яков пополз меж клеткой и потолком вагона, слушая, как его обсуждают: сбежит один или вернется за стариком? Ворон – вор уважаемый. Но жизни в нем осталось на один чих, такого с поезда снять непросто, а после придется тащить на себе, это еще труднее. По следу пустится погоня... совсем глупо возвращаться.

Клетку стерегли двое, им было тесно меж её стенкой и вагонной дверью. Один спал, второй чистил сапоги. Придушить обоих, скрутить и устроить на отдых оказалось проще простого.

– Кто едет до столицы, а кто собирается на выход здесь, решайте сами. Я беру старого. Только его. Сунетесь следом, и мы оценим-таки мою жизнь, – усмехнулся Яков, отпирая клетку. Прошел до угла, сел и дождался, пока тело Ворона навалит на спину. – Эй, дед, еще больно или уже...

– Уже. С ночи легчает. Ноги крутило, а теперь их навроде и нету, – охотно сообщил Ворон.

– Я к тому, что прыгать нам на ходу. Бережь не смогу ни тебя, ни себя. – Яков прикрыл глаза, пытаясь по памяти восстановить карту, чтобы понять нынешнее место поезда. – Так. Подъем будет скоро. Тогда и уйдем.

Дверь вагона открывалась снаружи, но сейчас её ломали всей толпой, не жалеючи.

В вагон ворвался ветер. Волосы то зачесывало назад, то кидало в глаза. Хотелось кричать и хохотать. Яков далеко высунулся наружу, высматривая путь поезда и подъем впереди. Голова Ворона лежала на плече. Старый напрягал шею и тоже всматривался, улыбался пьяно и весело.

– Ну, погуляй в свой день, Ворон, – веско сказал старший. Он, оказывается, стоял рядом. Хлопнул Якова по спине и тихо, в самое ухо, выдохнул: – Не ведаю, чем ты зацепил Дюбо. А только полная по тебе была проверка, и нужен ты им мертвый, так я понял дельце.

Яков кивнул, опустил старика и нырнул в вагон. Перерыл вещи охраны, укутал легкое тело деда в найденное тонкое одеяло. Стал ждать... Пологий длинный склон и ивняк по его дну приметились издали. Глаза жадно собирали подробности откоса у путей: камни, коряги, промоины. Яков с силой вышвырнул тело старика и кошкой метнулся следом. Вцепился в сверток в полете, обнял и покатился, сосредоточенно шипя сквозь зубы. Трава и небо мелькали, такие близкие и пестрые, что сознание путалось... Резко промокла спина, под локтями чавкнуло. И все успокоилось. Небо утвердилось вверху, болотце – под брюхом. Поезд одолел подъем и заорал, то ли ругаясь, то ли желая удачи. Застучал дальше, тише...

– Дед, ты жив? – рука дотянулась, нащупала пульс под челюстью.

– Кукушонок, а кто таков твой Ныд... Ныдпа? Скоро увижу его по ту сторону жизни. Спросит о тебе, что отвечу?

– Вы ловкий обманщик, даже я почти поверил: вдруг и такое у него было прозвище – Слиток? – рассмеялся Яков, садясь и поводя плечами. – Я тоже обманщик. Ныдпу на его наречии значит «хитрый». Настоящее имя учителя Ёмайги, по молодости он был охотник. Его обманули и лишили всего: ружья, ножа и добычи. Было честно убить подлецов, такой в лесу закон. Только один из них оказался чей-то сын... и Ёмайги попал в мир вне леса. В тюрьму, а после на каторгу. Если по ту сторону можно кого-то встретить... скажите, я не ворую без причины и из жадности. Обещание в силе.

– Со мной далеко не уйдешь. Поймают, – предупредил Ворон.

– Дед, думай о своем свободном деньке, с прочими днями я уж разберусь, – помогая старому забраться на спину, пообещал Яков. – Ох, тебе скажу, раз такой случай выпал. Вовсе по другой причине у меня сейчас непокой в душе. Вот послушай. Меня скрутили по ложному навету, и я вмиг обозлился. Но теперь выяснилось, еще до того меня проверяли в доме Дюбо и сочли опасным, а это – верная смерть. Получается, тот, кто указал на меня, спас. На воле, в Луговой, я бы до полудня не дотянул. И ведь была с вечера мыслишка, заметил я кое-что, но расслабился и чутью не поверил.

– Обидел его, наветчика? Ты шустрый, мог успеть.

– Успел, – нехотя признал Яков. – Дед, куда теперь? Лес, поле, город или что еще? Ты желай, а я исполню по мере сил.

– На бережку повечерить, рыбку половить. Эй, кукушонок, и муторное же это дело, если из тебя кто ни попадя норовит чудо, как перо, драть?

– Здесь не север. Здесь о нас не знают. А там... ты сам сказал, я шустрый.

Дед промолчал. Яков тоже не стал вымучивать разговор. Тишиной дышалось легко и сладко. День грел макушку, не угрожая дождём. Ноги при каждом шаге с трудом выдирались из грязи, и утешала лишь мелкость придорожного болотца. Ветерок тянул в низину многие запахи, помогал выбрать путь. Под ключицей горел и бился второй пульс: желание старика норовило сбыться. Найдутся и озерко, и высокий берег, и пустой сарай, и брошенное кем-то удилище... Люди здесь, близ столицы, селятся густо. Любые такие находки не удивительны. Но сегодня они сложатся наилучшим образом.

Далеко в роще не унималась кукушка, Яков слушал её и прикидывал, сколько осталось деду. Тело не очень и теплое, сердце едва трепыхается.

Душе больно и легко. Так всегда с проклятием кукушки, которое люди зовут даром. Но сегодня все – правильно. Вот разве... найти бы уroda, который сунул Ворона в клетку, вынудил умирать в затхлой тьме, в ознобе боли, в вонючей гнилости необработанных ран. Но такое дело можно и нужно оставить для иного дня.

– Ты меня не хорони, – едва слышно шепнул Ворон, блаженно улыбаясь лиловому закату. – Эти... найдут по следу и позаботятся. Ты иди. Пора.

Ответ не требовался. Заветное желание деда еще оставалось для Якова нарывом под кожей – горячее, вздутое, но уже готовое прорваться и пропасть, до конца сбывшись. Оно толкало ключицу медленнее с каждым вздохом.

От воды наплывал туман. Ночь воровала без разбора, все тащила в плотный мешок мрака: лес у горизонта, поле поближе, ивы у воды, молодые иглы камыша по берегу. Тишина натягивалась, пока не лопнула. В лесу на полувздохе смолкла кукушка. Жар под кожей последний раз колыхнулся и остыл. Яков повел плечами, ощущая себя одиноким и... обыкновенным.

– Теперь и правда пора. Прощай, дед. Лёгкого тебе пути.

Далеко-далеко край кукушечьей тишины порвали собачьи привизги. Яков пошел прочь, не оглядываясь, а затем побежал. Душа опустела. Так бывало и прежде после исполнения чужих желаний. Хотелось двигаться, утомлять тело, а лучше – драться всерьез. Но этого сегодня не случится. Надо уходить тихо и не оставлять следов.

Дело в Луговой не таково, чтобы выставлять его напоказ целиком, позволив поймать себя и допрашивать. Никто не поможет: он был предупрежден с самого начала и согласился работать как одиночка, без поддержки. Главное задание исполнил давно, бумаги по курьерам и маршрутам скопированы и уложены в тайник. Зачем дому Дюбо охочие до денег живки – такой вопрос был вторым, косвенным, и он остался без полного ответа. Хотя в первый же день близ Луговой кто-то устроил охоту. Наверняка именно люди Дюбо искали выползка. Тем более непонятно, почему охота осталась ни с чем. Люди Дюбо умеют готовиться, они точны в исполнении приказов. Ясно лишь одно: в имении время от времени гостят живки. Их приглашают, проверяют. Самых даровитых склоняют к сотрудничеству и держат «на поводке». Список сговорчивых жив имелся в сейфе управляющего, он тоже скопирован.

Было и третье дельце. Самое смутное: зачем Дюбо устроили кутерьму с весной среди лета? Почему блажь со смешным названием «кафе Первоцвет» обозначалась во всех бумагах, как проект? И ведь это – не случайность, бумаги по «Первоцвету» хранились в тайном сейфе. То есть за ширмой блажи имелось нечто значимое! Уж всяко это – не подарок старшему в семье, как сказано в газетах. Но старший в имении был! Приезжал тайно, пил кофе в том самом дворике, это – достоверные сведения. Знать бы причину: если не ностальгия и блажь, то – ритуал?

Был бы еще день в запасе, стоило бы поговорить с Юной. Он и задержался ради разговора, доверительного, очень искреннего... хотя это как посмотреть! Юна, при всей её наивности, не глупая. Могла видеть что-то, в ней много внимательности к странному. Именно поэтому сам Яков все еще жив.

– Тихо и бесследно, – вслух напомнил себе Яков. – Плевое дельце!

За спиной погоня, да еще с собаками. Смешное занятие горожан! Здесь нет настоящих лесов, сёла и малые города перетекают друг в друга порою вовсе без разрывов, поля и огороды истоптаны и огорожены, а волновать жителей облавами из-за никчемного воришки неуместно – столица рядом. Но, судя по растущему шуму, сбежавшего ищут усердно. Знать бы: тайная полиция получила наводку, местные жандармы исполнительны до одури, железнодорожная служба бдит? Хотя пружина внимания взведена все теми же мастерами. Люди Дюбо не унимаются, запоздало осознав, что упустили кого-то ценного... Никак нельзя попадаться в их ловчую сеть.

Нетрудно добраться до столицы и, зная ночные законы, бесследно сгинуть в её бессчётных подвалах и подворотнях. Так Яков и собирался поступить. Но после встречи с Вороном пустота в душе загудела, разбередила эхо прошлого.

До десяти лет он был обычным ребёнком. Мальчик Яков – хотя тогда его звали иным именем – верил, что живет в доме на правах сына. Его если и не любят, то хотя бы признают. Но в тот день все рухнуло. Отец сам привел старшего сына в чужой дом, толкнул вперед и сказал: «Отдаю в оплату сделки». Отвернулся и ушел, не оглядываясь.

Детский простой мир сгнил, распался! Осталась лишь бездонная, болотная пустота. Возникло кошмарное, сосущее жизненные соки ощущение, что душа – древесный ствол, что слова отца порвали сердцевину этого ствола и создали черное дупло отчаяния. Оно не убило душу сразу, но лишило сил. Дерево жизни уже не могло выпрямиться и тянуться к свету. Ведь все деревья тянутся к свету...

В новом доме было много света. Чужого кукушонка, проданного одним жадным взрослым другому такому же подлому взрослому, любили и берегли, хотя он сделался бесполезен: дар сработал и более не имел силы. Кукушонок знал это, был благодарен и постепенно прирос душой. Вот только пустота чёрного дупла в душе не заросла, проклятие оказалось незаживающим... и однажды он ушел. Пообещал себе не возвращаться. Он тому дому – чужой. От рождения и до смерти – чужой!

Он сам не знал, взрослея, в шутку или всерьез выбирает временные имена и играет с ними, как с масками. Он не мог быть прежним собой – или только не хотел?

Ян плакал ночами и желал вернуться домой, бесхитростный Ян знал, что его ждут. В ответ хитрый, тертый жизнью Яков криво усмехался и повторял «да пошли они все!»... Пустота в черном дупле души делалась гулкой, отзывалась эхом, словно кто-то окликал издали. Ян притихал, Яков встряхивал головой и старался не замечать. Он обещал не возвращаться! Он выполняет обещание...

Но память о доме, покинутом сторяча, пустила корни. Выкорчевать эту память не удалось. Она казалась ненавязчивой, но, по смерти Ворона, вдруг сделалась заметна. Будто дупло прошлого вскрылось, и тьма, наконец, вытекла из него, как гной. Подумалось: а ведь рядом то самое место, всё складывается удобно... словно так и надо.

– Не хочу, – Яков соврал себе и поморщился, не прогнав мысль. – Не имею права, я тогда решил верно. Я не ошибся. Так ему безопаснее. И мне... Он даже не искал меня. Кто я и кто он? Я кукушонок, малая птица. Он теперь взрослый. Он всё забыл, и это хорошо, это правильно. Для него, для меня, для всех. Мы совместимы, как вода и масло. Да меня выгонят вшей, и хуже – близко не дадут подойти. Хотя... разве плохо? Ясность – это же хорошо. Как сказал Ворон: точка. Вот и будет – точка.

Яков шептал, кивал и верил в доводы. От собственной внезапной, суетливой многословности делалось тошно. Руки потели. А ноги, которые часто бывают умнее головы, несли болтуна и не спотыкались, уже вытаптывая начало тропы, за выбор которой спорили память и боль. И, если бы не тот плевок перед экипажем Мергеля...

– Я шустрый, – снова припомнив слова Ворона, вздохнул кукушонок. – Да и место уж слишком подходящее. Там не станут искать. Ладно. Вернусь и гляну. Это мне удобно. Вот: мне – удобно. И только-то.

Яков уже подбирался к околице деревеньки на дюжину спящих дворов. Выбрав богатый, вслушавшись и принявшись, он сиганул через забор. Сходу пнул старого пса, сразу опознав: так себе сторож, не чета таежным. И точно – заскулил, уполз в конуру. Круглобокий малолетний конек сонно вздохнул, покидая стойло. Незаседланный, выбрался на знакомую дорогу и вялой рысью повез чужака к соседнему селу. А оттуда, отпущенный, побрел домой, пока Яков выбирал иного коня, чтобы скоро бросить и его: начались ближние пригороды. Стало удобнее прибираться пешком.

Он шел и шел, часто вздыхал, вроде собираясь вслух что-то себе сказать, и отмахивался от нелепой своей говорливости. Он возвращался туда, куда зарекся приходить. Потому что боялся быть преданным. Потому что не желал, чтобы дар стал для кого-то проклятием. Потому что кукушонку любое гнездо – чужое...

Первым признаком нужного места стала музыка. Звук рояля, едва приметный, растревожил чуткий слух. Пьеса узналась сразу, пальцы дрогнули, ладони вмиг вспотели! Скоро вдали, в тумане, обозначилось сияние.

Яков миновал опушку неогороженного поселкового парка, почесал в затылке... и нахально зашагал по середине дороги. Самой пустой в столице: ведь она ведет к ресторану «Сказочный остров», к заведению желанному и совершенно недостижимому для свободного посещения. Сюда можно прибыть, лишь имея приглашение, которое не купить за деньги и не добыть через важных знакомых. Так было написано в статье два года назад. Готовый лопнуть от своей значимости модный столичный шелкопёр в деталях описывал то, что увидел, отведал и услышал. Ведь его одного пригласили! Конечно, хозяина «Сказочного острова» газетчик не видел, но и без того впечатлений набрал... «Как собака блох», – Яков помнил свои слова и ту ухмылку, с которой высказался, мельком, через чье-то плечо, просмотрев статью. Он сразу отвернулся и больше не искал газету. Он и так по одному взгляду на рисунок острова с рестораном все понял... но ничего не стал делать. Тогда он был далеко от столицы. Тогда он внушил себе: это не важно, это совпадение, я не вернусь.

С каждым шагом дворец все ярче, всё отчетливее проступал в тумане. Он сиял, освещенный от хрустальных залов у воды до комнат под самыми шпилями. Оттенки света – холодного электрического и золотого свечного – мешались, многократно отражались в воде и стеклах высоких стрельчатых окон, создавая на поверхности озера текущий узор.

Замок казался бы пустым, если бы не рояль. Кажется, тот самый ореховый «Стентон»... Яков добрался до кованной ограды, потрогал плетение листьев, тонко выделанные лепестки и тычинки цветов. И побрел вдоль ограды по дороге, продолжая слушать музыку и иногда спотыкаясь, но не замедляя шага.

У ворот несли караул четыре лакея, обряженные в костюмы позапрошлого века: точно такие были на оловянных солдатиках в том доме... За воротами, на площадке у берега, не наблюдалось экипажей и автомобилей. Газеты не солгали: в это время года уединением острова пользуется лишь один человек. И, хотя лакеи у ворот не орут «не положено» и не сводят крест-накрест свои алебарды, у них есть приказ не пускать никого. Совершенно никого!

Яков хмыкнул, решительно одернул полы клифта – он не знал, как еще назвать старье, снятое с подвернувшегося по пути пугала. Одежда здесь ничего не решает, и когда вообще он суетился и потел из-за подобного? Страх... если быть с собою честным, то страх – есть, и огромный. Вот-вот накроет с головой, запретит сделать последние шаги и узнать, наконец-то, что больнее: быть забытым и свободным – или снова мучительно радоваться неволе.

Яков сжал зубы, прошел-таки последние шаги и бесцеремонно ткнул пальцем в золотую пуговицу лакейской жилетки.

– Передай князю Ин Тарри, что здесь Яр... то есть Куки.

Лакей невозмутимо поклонился и удалился.

Резко захотелось спать. За прошлый день и эту ночь многовато бед приключилось. И худшая – нынешнее ожидание... Яков сел на мраморные плитки, нахохлился и сделал вид, что собирается вздремнуть. Вдруг ожидание затянется? Вдруг лакей вернется и оговорит, толкнёт прочь? Или молча займет свое место и перестанет замечать чужака... Три рослых молодца так и поступают: замерли статуями и вроде не дышат. Ночь глухая, ни единого дуновения ветерка. Туман пушится, перламутрово переливается, оттеняя мелодию.

Звук рояля оборвался, брызнули осколки хрустального звона, пушечным гулом загрохотала дверь! Зашуршали шаги и шепоты. Сквозь переполох прорезался решительный голос, вмиг узнался, вскрыл старую рану души – и сводящее с ума ощущение боли и радости вздернуло Якова на ноги, потребовало бежать... вот только в какую сторону? Прочь или навстречу?

– Куки! Мой Куки. Где он? Вы что, не впустили? Да утопить всех в озере, мemento... Где машина? Но, минута – но, долго. Сейчас. Вот сейчас, мemento.

– Арестантский вагон класса люкс, – буркнул Яков, стараясь не допускать на лицо улыбку до ушей, глупейшую. – Без права на побег. А ведь, если быть честным, я всегда в его доме делал, что хотел. Я был свободен. Это он невольник.

Стоять и просто ждать – невыносимо. Сгинуть бы, прыжком... или врезать лакею, прошмыгнуть под его локтем и рвануть к дверям! Яков закаменел, из последних сил оставаясь на месте. Он шурился, вглядываясь в недра огромного зала за глянцевыми стеклами.

Хозяин дворца возник в дальних дверях белой вспышкой, его вмиг выделили цвет одежды, рост и то свободное пространство, которое возникало вокруг. Впрочем, – Яков понял, что уже улыбается, как дитя – этот человек таков, что в любой толпе не может остаться незамеченным. И сразу же Яков ощутил горечь: в белое или очень светлое он сам и велел кое-кому одеваться, если настроение не удастся улучшить. Мол, станешь светел видом – и на душе посветлеет. Глупый совет. Ужасно глупый и детский... но им до сих пор пользуются!

Продолжая рассматривать человека в белом, Якову удалось глубоко и спокойно вздохнуть: здоров, вон как зычно шумит и уверенно двигается. Стало смешно от вида слуг, они определенно впервые наблюдали хозяина таким: бежит, руками размахивает, кричит в голос! То-то слуги побледнели, жмутся к стенам, спотыкаются, за головы хватаются... Кто-нибудь уже наверняка разыскивает врача и шепчет в трубку сообщение для тех, кому положено знать, что хозяину-то плохо, что он не пил, а смотрится вовсе похмельным.

– Мой ангел, – едва слышно выговорил Яков. Серdito и быстро провел тыльной стороной руки по лицу, не желая знать, зачем делает это и отчего все видится нерезким. – Вот же вечное дитя. Ничуть не изменился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.